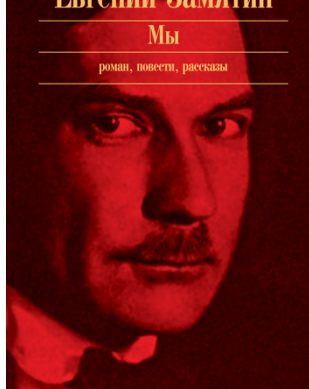


красная книга русской прозы

Евгений Замятин

Мы

роман, повести, рассказы



Евгений Иванович Замятин

На куличках

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=171992

Аннотация

В русской литературе Евгений Замятин продолжил ту линию, которую принято называть критической, берущей начало от Гоголя, Салтыкова-Щедрина, а более близких по времени писателей – Ф.Сологуба. Константин Федин называл Замятина «гроссмейстером литературы» и считал, что его «нехитро угадать по любой фразе».

За антивоенную по духу повесть «На куличках», героями которой являются не только дальневосточные офицеры и солдаты, но и вся «загнанная на кулички Русь», Замятин был привлечен к суду, а номер журнала «Заветы», в котором была опубликована повесть, был конфискован.

Содержание

1. Божий зевок.	4
2. Картофельный Рафаэль.	6
3. Петяшку крестят.	9
4. Голубое.	11
5. Сквозь Гуслийкина.	13
6. Лошадиный корм.	15
7. Человечьи кусочки.	18
8. Соната.	21
9. Два Тихменя.	23
10. Солдатушки, браво, ребятушки.	26
11. Великая.	28
12. Милостивец.	31
13. Кладь тяжелая.	33
14. Снежный узор.	35
15. Нечистая сила.	37
16. Пружинка.	40
17. Клуб ланцепупов.	42
18. Альянс.	44
19. Мученики.	46
20. Пир на весь мир.	48
21. Огонек в теми.	51
22. Галченок.	53
23. Хорошо и прочно.	55
24. Поминки.	57

Евгений Иванович Замятин

На куличках

Повесть

1. Божий зевок.

Есть у всякого человека такое, в чем он весь, сразу, чем из тысячи его отличишь. И так же у Андрея Иваныча – лоб: ширь и размах степной. А рядом нос – русская курнофеечка, белобрысые усики, пехотные погоны. Творил его Господь Бог, размахнулся: лоб. А потом зевнул, чего-то скушно стало – и кой-как, тяп-ляп, кончил: сойдет. Так и пошел Андрей Иваныч с Божьим зевком жить.

Вздумал прошлым летом Андрей Иваныч – в академию готовиться. Шутка ли сказать: на семьдесят рублей одних книг накупил. Просидел над книгами все лето – и случилось в августе на Гофманский концерт попасть. Господи Боже мой: сила какая. Куда уж там академией заниматься: ясное дело – быть Андрею Иванычу Гофманом. Недаром же все в полку говорили: так Андрей Иваныч играет Шопеновский похоронный марш – без слез слушать нельзя.

Под диван все книги академические, взял учительницу, засел Андрей Иваныч за рояль: весной в консерваторию поедет.

А учительница – светловолосая, и какие-то у ней особенные духи. Вышло: вовсе не музыкой занимался с ней Андрей Иваныч всю зиму. И пошла консерватория прахом.

Что же, так теперь и прокисать Андрею Иванычу субалтерном в Тамбове каком-то? Ну, уж это шалишь: кто-кто, а Андрей Иваныч не сдастся. Главное – все сначала начать, все старое – к чорту, закатиться куда-нибудь на край света. И тогда – любовь самая настоящая, и какую-то книгу написать – и одолеть весь мир...

Так вот и попал Андрей Иваныч служить – на край света, к чертям на кулички. Лежит теперь на диване – и чертыхается. Да как же, ей Богу: третий день приехал – и третий день от тумана не продыхнуть. Да ведь какой туман-то: оторопь забирает. Густой, лохматый, как хмельная дрема – муть в голове – притчится какая-то несуразная нелюдь – и заснуть страшно: закружит нелюдь.

Хоть какого-нибудь человеческого голоса захотелось – навождение свалить. Кликнул Андрей Иваныч денщика.

– Эй, Непротошнов, на минутку!

Как угорелый, влетел денщик и влип в притолку.

– Скушно у вас, Непротошнов: туман-то, а?

– Н-не могу знать, ваше-бродие...

«Фу ты, Господи: какие глаза рыбы. Но можно же его чем-нибудь»... – Ну что, Непротошнов, через год домой, а?

– Так тошно, ваше-бродие.

– Жена-то есть у тебя?

– Так тошно, ваше-бродие.

– Небось, по ней соскучился? Соскучился, говорю, а?

Что-то тускло мигнуло в Непротошнове.

– Как она, есть конкурент моей жизни, жена-то... то я... и потух, спохватился, вытянулся Непротошнов еще больше.

– Да что: разлюбил, что ли? Ну?

– Н-не могу знать, ваше-бродие...

«О, ч-чорт... Ведь вот: был, наверно, в деревне – первый гармонист, а теперь – рыбы глаза. Нет, надо будет от него отвязаться»... – Ладно. Иди к себе, Непротошнов.

Отвалился Андрей Иваныч к подушке. В окно полз туман лохматый, ватный: ну просто не продохнуть.

Перемогся – и хоть с храпом – а продохнул Андрей Иваныч, и сам же услышал свой храп: заснул.

«Батюшки, что же это я – среди бела дня сплю...»

Но запутал туман паутиной – и уж не шевельнуть ни рукой, ни ногой.

2. Картофельный Рафаэль.

– Их преосходительства господина коменданта нету дома.

– Да ты, братец, узнай хорошенько. Скажи, мол, поручик Половец. Половец, Андрей Ивановч.

– Полове-ец?

У денщика генеральского – не лицо, а начищенный самовар медный: до того круглое, до того лоснится. И был себе самовар заглохший, а тут вдруг начал пузыриться, закипать:

– Полове-ец? Ах-и-батюшки, позабыл я, дома они. Половец – ну как же: – дома, пожалте. Только заняты малость.

Денщик отворил из сеней дверь налево. Андрей Ивановч нагнулся, вошел. «Да нет... да может, не туда?»

Дым коромыслом, чад, суета, шипит что-то, луком жареным пахнет...

– Кто та-ам? Поближе, поближе, не слы-ы-шу!

Андрей Ивановч шагнул поближе:

– Честь имею явиться вашему превосходительству...

Да чорт-те возьми: да уж он ли это, генерал ли? Передник кухарский и беременное пузо, подпертое коротышками-ножками. Голая, пучеглазая, лягушачья голова. И весь разла-тый, растопыренный, лягва огромная, – может под платьем-то и пузо даже пестрое, бело-зелеными пятнами.

– Явиться? Гм, хорошее дело, хорошее дело... офицеров у меня мало. Запивох – это сколько угодно, – буркнул генерал.

И опять занялся своим делом: тонкими на диво ломтиками кромсал крупичатый белый картофель. Нарезал, вытер фартуком руки, сигнул бочком к Андрею Ивановчу, уставился, обглядел и закричал сердито, снизу откуда-то, как водяной из бучила:

– Ну, что за нелегкая сюда занесла? Майн-Ридов начитался, а? Сидел бы себе, голубе-ночек, в России, у мамыши под подолом, чего бы лучше. Ну что, ну зачем? Возись тут потом с вами!..

Андрей Ивановч оробел даже: уж очень сразу наскочил генерал.

– Я, ваше превосходительство... Я в Тамбове... А тут, думаю, море... Китайцы тут...

– Ту-ут! Едут сюда, думают тут...

Но не кончил генерал: зашипело что-то на плите предсмертным шипом, закурился пар, паленым запахло. Мигом генерал пересигнул туда и кого-то засыпал, в землю вбил забори-стой руганью.

Тут только оглядел Андрей Ивановч поваренка-китайца в синей кофте-курме: стоял он перед генералом, как робкий звереныш какой-то на задних лапках.

– Р-раз, – и чмокнулась в поваренка звонкая оплеуха.

А он – ничего: потер только косые свои глаза кулачками, чудно так, быстро, по-заячьи.

Отдувался генерал, плескалось под фартуком его пузо.

– Уф-ф! Замучили, в лоск. Не умеют, ни бельмеса не смыслят: только отвернись – такого настряпают... А я смерть не люблю, когда обед так вот, шата-валя, без настроения варганят. Пицца, касатик, дар Божий... Как это, бишь, учили-то нас: не для того едим, чтобы жить, а для того живем, чтобы... Или как бишь?

Андрей Ивановч молча во все глаза глядел. Генерал взял салфетку и любовно так, бережно, перетирал тонкие ломтики картофеля.

– Картошка вот, да. Шваркнул, мол, ее на сковородку и зажарил, как попало? Вот... А которому человеку от Бога талант даден, тот понимает, что в масле ни в ко-ем слу-чае...

Да в масле? Да избави тебя Бог! Во фритюре – обязательно, непременно, запомни, запиши, брат – во фритюре, раз-на-всегда.

Генерал взял лимон, выжимал сок на ломтики картофеля, Андрей Иванович насмелел и спросил:

– А зачем же, ваше превосходительство, лимон?

Видимо, пронзило генерала такое невежество. Отпрыгнул, орет откуда-то снизу – водяной со дна из бучила:

– Ка-ак зачем? Да без этого ерунда выйдет, профанация. А покропи, а сухо-на-сухо вытри, а поджарь во фритюре... Картофель a la lyonnaise – слышал? Ну, куда-а вам! Сокровище, перл, Рафаэль! А из чего? Из простой картошки, из бросовой вещи. Вот, миленок, искусство что значит, творчество, да...

«Картошка, Рафаэль, что за чушь! Шутит он?» – поглядел Андрей Иванович.

Нет, не шутит. И даже – видать еще вот и сейчас – под пеплом лица мигает и тухнет человечье, далекое.

... "Пусть картофельный, – хоть картофельный Рафаэль".

Андрей Иванович поклонился генералу, генерал крикнул:

– Ларька, проводи их к генеральше. До свидания, голубенок, до свидания...

Бывают в лесу поляны – порубки: остались никчемушные три дерева, и от них только хуже еще, пустее. Так, вот, и зал генеральский: редкие стулья; как бельмо – на стене полковая группа. И как-то некстати, ни к чему, – приткнулась генеральша посередине зала на венском диванчике.

С генеральшей сидел капитан Нечеса. Нечесу Андрей Иванович уже знал: запомнил еще вчера включенную его бороду в крошках. Поклонился генеральше, поцеловал Андрей Иванович протянутую руку.

Генеральша переложила стаканчик с чем-то красным из левой руки опять в правую и сказала поручику, однотонно, глядя мимо:

– Садитесь, я вас – давно – не видала.

... "То есть как – давно не видала?"

И сразу сбила с панталыку Андрея Ивановича, выскочила из головы у него вся приговоренная речь.

Капитан Нечеса, кончая какой-то разговор, пролаял хрипло:

– Так вот-с, дозволейте вас просить – в крестные-то, уж уважьте...

Генеральша отпила, глаза были далеко – не слыхала. Сказала – ни к селу, ни городу – о чем-то о своем:

– У поручика Молочки пошли бородавки на руках. Кабы еще на руках, а то по всему по телу... Ужасно неприятно – бородавки.

Как сказала она «бородавки» – так за спиной у Андрея Ивановича что-то шмыгнуло, фыркнуло. Оглянулся он – и увидел позади, в дверной щели, чей-то глаз и веснущатый нос.

Капитан Нечеса повторил умильно:

– ... Уважьте – в крестные-то!

Должно быть теперь услышала генеральша. Засмеялась невесело, треснуто – и все смеется, все смеется, никак не перестанет. Еле выговорила, к Андрею Ивановичу обернувшись:

– Девятым, разрешилась капитанша Нечеса, – девятым. Пойдемте со мной, – в крестные отцы?

Капитан Нечеса закомкал свою бороду:

– Да, матушка, простите Христа ради. Уж есть ведь крестный-то. Жилец мой, поручик Тихмень, обещано ему давно...

Но генеральша уж опять не слыхала, опять – мимо глядела, прихлебывала из стаканчика...

Андрей Иванович и капитан Нечеса ушли вместе. Хлюпала под ногами мокреть, капелью садился на крыши туман и падал оттуда на фуражки, на погоны, за шею.

– Отчего она какая-то такая... странная, что ли? – спросил Андрей Иванович,

– Генеральша-то? Господи, хорошая баба была. Ведь я тут двадцать лет, как пять пальцев вот... Ну, вышла такая история – да лет семь уж, давно! – младенец у ней родился – первый и последний, родился да и помер. Задумалась она тогда – да так вот задуманной и осталась. А как опомнится – такое иной раз, ей Богу, ляпнет... Да вот – Молочко, бородавки-то: и смех ведь, и грех!

– Ничего не понимаю.

– Поживете – поймете.

3. Петяшку крестят.

Ну, ладно. Ну, родила капитанша Нечеса девятого. Ну – крестины, – как будто что ж тут такого? А вот у господ офицеров – только и разговору, что об этом. Со скуки это, что ли, от пустоты, от безделья? Ведь и правда: устроили какой то там пост, никому не нужный, наставили пушек, позагнали людей к чертям на кулички: сиди. И сидят. И как ночью, в бессонной пустоте, всякий шорох мышиный, всякий сучек палый – растут, настораживают, полнят всего, – так и тут: встает неизмеримо всякая мелочь, невероятное творится вероятным.

Оно, положим, с девятым младенцем капитанши Нечесы не так уж просто дело обстоит: чей он, поди-ка раскуси? Капитанша рождает каждый год. И один малюкан – вылитый Иваненко, другой две капли воды – ад'ютант, третий – живой поручик Молочко, как есть – его розовая, телячья мордашка... А чей, вот, девятый?

И пуще всех тот самый Молочко взялся за дело. Очень просто почему. В прошлом году его в отцы капитаншину младенцу обрядили, проздравили и угощение требовали, – хотелось и ему теперь кого-нибудь подсидеть.

– Господа, да постойте же, – подпрыгнул Молочко как козлик, как теленочек веселый, молочком с пальца поеный, – господа, да ведь – Тихмень же жилец-то ихний... Да неужто же капитанша его не приспособила? Не может того быть! А коли так, то...

– Бр-раво, и Молочко догадлив бывает, браво!

Так на Тихмене и порешили: может и не виноват он ни телом, ни духом, да уж очень над ним лестно потешиться, за тем, что Тихмень неизменно серьезен, длиннонос и читает, чорт его возьми, Шопенгауэра, там, или Канта, какого-то.

И, чтобы Тихменя захватить врасплох, чтобы не сбежал, только лишь за полчаса до крестин этих самых послали Молочко предупредить капитаншу о нашествии иноплеменных. По тутошнему называлось это: «пригласиться».

Капитанша лежала в кровати, маленькая и вся кругленькая: круглая мордочка, круглые быстрые глазки, круглые кудряшечки на лбу, кругленькие – все капитаншины атуры. Только, вот, сейчас вышел из спальни капитан, чмокнув супругу в щеку. И еще не затих, позванивал на полочке пузыречек какой-то от капитановых шагов, когда вошел поручик Молочко и, сказав: здравствуй, – чмокнул капитаншу в то же самое на щеке место, что и капитан.

Страсть не любила капитанша вот таких совпадений, положительно – это неприличное что-то. Серdito закатила круглые глазки:

– Чего целоваться лезешь, Молочишко? Не видишь, – я больна?

– Ну, ладно уж, ладно, целомудренная стала какая!

Уселся Молочко возле кровати. «Как бы это к Катюшке под'ехать, чтобы приглашаться не сразу?»

– А знаешь, – подпрыгнул Молочко, – был я у Шмитов, целуются все, можешь себе представить? Третий год женаты – и до сих пор... Не понимаю!...

Капитанша Нечеса поздоровела, зарозовела, глазки раскрылись.

– Уж эта мне Марусечка Шмитова, уж такая принцесса, на горошине, фу-ты, ну-ты... Знаться ни с кем не желает. Вот, дай-ко съ, Бог-то ее за гордость накажет...

Переполоскали, перемыли Марусины косточки – и не о чем больше. Видно, делать нечего – надо начинать. Прокашлялся Молочко.

– Видишь ли, Катюша... Н-да... Ну, одним словом, мы все собираемся на крестины, хотим пригласиться. Надо отцом проздравить Тихменя. Я придумал, можешь себе представить?

Никак и не ждал Молочко, что так сразу согласится Катюшка. Залилась она кругленько, закатилась, под одеялом ножками забрыкала, за живот даже держится: ой, больно...

– Ну, и выдумщик ты, Молочишко: Тихменя – в отцы, а? Тихменя нашего длинноно-
сого! Так его и надо, а то больно зачитался...

И вот – крестили. Генеральша улыбалась, глядела куда-то вверх, глазами была не
здесь. Заспанным голосом читал по требнику гарнизонный поп. Вся ряса на спине была у
него в пуху.

Неотрывно глядел на пушинки эти крестный, поручик Тихмень. Длинный, тощий, весь
непрочный какой-то, стоял с ребенком на руках, удивленно водил своим длинным носом:

«Вот, ей-Богу, ввязался я... Закричит это на руках, ну что я буду делать?»

А «это на руках» оказалось даже еще хуже: в ужасе почувял поручик Тихмень, что руки
у него вдруг намокли, и из теплого свертка закапало на пол. Забыл тут Тихмень всякую
субординацию, ткнул, как попало, крестника на руки генеральше и попятился назад. Бог его
знает, куда бы запятился, если бы стоявшая сзади компания с Молочко во главе не водворила
его на место.

Пришло время уж и в купель окунать младенца. Заспанный поп обернулся к гене-
ральше ребенка взять. А она не дает. Прижала к себе и отпустить не хочет, и кричит:

– Не дам, а вот и не дам, и не дам, он мой!

Поп оробело пятился к двери. Батюшки мои, что ж это? Суматошились, шептали. Кабы
не Молочко, так и не докрестили бы, может. Молочко подошел к генеральше, взял ее за руку,
как свой, и шепнул:

– Отпустите, зачем вам этот, у вас будет свой, можете себе представить. Раз я говорю...
Разве ты мне не веришь? Мне?

Генеральша засмеялась блаженно, отпустила. Ну, слава-те, Господи! С грехом пополам
докрестили и Петяшкой нарекли.

Тут-то и приступили господа офицеры к поручику Тихменю. Одним разом, по команде,
все низко поклонились:

– Честь вас имеем, папаша, проздравить с новорожденным, с Петяшкой, на чаек с
вашей милости...

Замахал Тихмень руками, как мельница.

– Как это – папаша? Я и не хочу вовсе, что вы такое! Терпеть не могу...

– Да в детях-то, милый, ведь Бог один волен. Уж там, можешь терпеть, иль не можешь...

Пристали – хоть плачь. Делать нечего: вечером Тихмень угощал в собрании. И пошло
с тех пор: каждый день на занятиях спрашивали его, как, мол, здоровье сынишки – Петяшки.
Задолбили, заморочили Тихменю голову Петяшкой этим самым.

4. Голубое.

Много ли человеку надо? Проглянуло солнце, сгинул туман проклятый – и уж мил Андрею Иванычу весь мир. Рота стоит и команды ждет, а он загляделся: шевельнуться страшно, чтобы не рухнули хрустальные голубые палаты, чтобы не замолкло золотой паутинкой звенящее солнце.

Океан... Был Тамбов, а теперь Океан Тихий. Курит внизу, у ног, сонно-голубым своим куревом, мурлычет дремливую колдовскую песню. И столбы золотые солнца то лежали мирно на голубом, а то вот – растут, поднялись, подперли стены – синие нестерпимо. А мимо глаз плавно плывет в голубое в глубь Богородицына пряжа, осенняя паутинка, и долго следит Андрей Иваныч за нею глазами. Кто-то сзади его кричит на солдата:

– ...Где у тебя три приема? Ж-животина! Проглотил, смазал?

Но не хочет, не слышит Андрей Иваныч, не обертывается назад, все летит за паутинкой...

– Ну что, танбовской? Или нравится – загляделся-то?

Делать нечего, оторвался, обернулся Андрей Иваныч. С усмешкой глядел на него Шмит – высокий, куда же выше Андрея Иваныча, крепкий, как будто даже тяжелый для земли.

– Нравится ли? Уж очень это малое слово, капитан Шмит. Ведь я, кроме Цны тамбовской, ничего не видал – и вдруг... Подавляет... И даже нет: весь обращаешься в прах, по ветру летишь вот, как... Это очень радостно...

– Да что-о вы? Ну-ну! – и опять Шмитова усмешка, может – добрая, а может – и нет.

Для Андрея Иваныча она была доброй: весь мир был добрый. И он неожиданно даже для себя, благодарно пожал Шмиту руку.

Шмит потерял усмешку – и лицо его показалось Андрею Иванычу почти-что даже неприятным: неровное какое-то, из слишком твердого сделано, и нельзя было, как следует заровнять – слишком твердое. Да и подбородок...

Но Шмит уже опять улыбался:

– Вы соскучились, кажется, со своим денщиком? Мне говорил Нечеса.

– Да, уж чересчур он – «точно так»... Хочу поменяться на какого угодно, только бы...

– Так вот, меняйтесь со мной? Мой Гуслиякин – пьяница, говорю откровенно. Но до чрезвычайности веселый малый.

– Спасибо, вот уж спасибо вам! Вы мне очень много...

Простились. Андрей Иваныч шел домой, весь еще полный голубого. Итти бы ему одному и нести бы в себе это бережно... Да увязался Молочко.

– Ну что, ну что? – подставлял он Андрею Иванычу розовую, глапоглазую свою мордочку: охота узнать что-нибудь новенькое, что бы можно было с жаром рассказать и генеральше, и Катюшке, и вечером в собрании.

– Да ничего особенного, – сказал Андрей Иваныч. – Шмит предложил денщика.

– Сам? Да что вы? Шмит ужасно редко заговаривает первый, – можете себе представить? А вы были у Шмитов? А у командира? Да бишь... командир в отпуску. Вот лафа – и вечном отпуску! Вот бы так, можете себе представить?

– У Шмитов еще не успел, – говорил Андрей Иваныч рассеянно, все еще думая о сонно-голубом. – Был у Нечесов, у генерала. Генеральша – вдруг, ни к чему, о бородавках...

Спохватился Андрей Иваныч, да было уж поздно. Маковым цветом заалел Молочко, заиндючился и важно сказал:

– По-жа-луйста! Просил бы... Я горжусь, что удостоен, можно-сказать, доверия такой женщины... Бородавки тут абсолютно не при чем... Аб-со-лютно!

Надулся и замолчал. Андрей Иваныч был рад.

У трухлявого деревянного домика Молочко остановился.

– Ну, прощайте, я здесь.

Но, попрощавшись, опять развернулся и в минуту успел рассказать про генерала, что он бабник из бабников, успел показать Шмитовский зеленый домик и что-то подмигнуть про Марусю Шмит, успел наболтать о каком-то непонятном клубе ланцепупов, о Петяшке поручика Тихменя...

Еле-еле стряхнул с себя все это Андрей Иванович. Стряхнул – и пошел снова сонный, заколдованный, поплыл в голубом, в сказочном, на тамбовское таком непохожем. Не видя, поводит глазами по деревянным, сутулым домишкам-грибам.

Вдруг застучали в окно, дробно так, весело.

– «Кому – мне?» – остановился Андрей Иванович перед зелененьким домиком. – «Да нет, не мне», – пошел дальше.

В зелененьком домике распахнулось окно, кликнул веселый голос:

– Эй, новенький, новенький, подите-ка сюда!

Недоуменно подошел Андрей Иванович и фуражку снял. «Но как же – но кто же это?»

– Послушайте, давайте-ка познакомимся, все равно ведь придется. Я Маруся Шмит, слышали? Сидела у окна – и думаю: а дай постучу. Ой, какой у вас лоб замечательный! Мне о вас муж говорил...

Бормочет что-то Андрей Иванович и глаза развесил: узкая, шаловливая мордочка, – не то тебе мышенка, не то – милой дикой козы. Узкие и длинные, наискось немного, глаза.

– Ну что, дивитесь? Озорная? Да мне не привыкать! Смерть люблю выкомаривать. Я в пансионе дежурной была в кухне – изжарила начальнице котлету из жеванной бумаги... Ой-ой-ой, что было! А за Шмитов портрет... Вы Шмита-то знаете? Да Господи, ведь он же про вас и говорил мне! Вы приходите как-нибудь вечером, что за визиты!..

– Да с удовольствием. Вы извините, я сегодня так настроен как-то, не могу говорить...

Но увидел Андрей Иванович, что и она замолчала, и куда-та мимо него смотрит. Принахмурилась малость. Возле губ – намек на недетские морщинки: еще нет их, когда-нибудь лягут.

– Паутинка, – поглядела вслед золотой Богородицыной пряже.

Перевела на Андрея Ивановича глаза и спросила:

– А вы когда-нибудь о смерти думали? Нет, даже и не о смерти, а вот – об одной самой последней секундочке жизни, тонкой вот – как паутинка. Самая последняя, вот, оборвется сейчас – и все будет тихо...

Долго летели глазами оба за паутинкой. Улетела в голубое, была – и нету...

Засмеялась Маруся. Может, засмутилась, что вдруг так – о смерти. Захлопнула окошко, пропала.

Пошел Андрей Иванович домой. «Все хорошо, все превосходно... И чорт с ним, с Тамбовом. И чтоб ему провалиться. А здесь – все милые. Надо поближе с ними, поближе... Все милые. И генерал – что ж, он ничего»...

5. Сквозь Гуслийкина.

С удовольствием спроводил Андрей Иванович своего так-точного истукана – Непротошнова. Полученный от Шмита Гуслийкин, действительно, оказался словоохотлив по-бабьи и не по-бабьи уж запивоха. То и знай, являлся с подбитой физией, изукрашенный кусками черного пластыря (пластырь этот Гуслийкиным величался «кластырь» – от «класть»: очень даже просто). Но и такой – с заплатками черными, и пусть даже пьяненький – все же он был для глаз Андрей-Иванычевых милее, чем Непротошнов.

Гуслийкин заметил, видно, расположение нового своего хозяина и пустился с ним в конфиденции в знак благодарности. Видимо, у Шмитов Гуслийкин, как по бабьей его натуре и надобно, дневал-ночевал у замочных скважин, да у дверных щелей. Сразу такое загнул что-то о Шмитовской спальне, что покраснел Андрей Иванович и строго Гуслийкина окоротил. Гуслийкин не мало был изумлен: «Господи, всякая барыня, да и всякий барин тутощный, – озолотили бы за такие рассказы слушали бы, как соловья, а этот... да наве-ерно – притворяется только...» – и опять начинал.

Как ни отбрыкивался Андрей Иванович, как ни выговаривал Гуслийкину, тот все вел свою линию и какие-то темные, жаркие, обрывочные видения поселил в Андрей-Иванычевой голове. То, вот, Шмит несет на руках Марусю, так, как ребенка, и во время обеда держит, кормит из рук... То почему-то Шмит поставил Марусю в угол – она стоит, и рада стоять. То наложили дров в печку, топят печку вдвоем, перед печкой – медвежья шкура...

И когда Андрей Иванович собрался, наконец, к Шмитам и сидел в их столовой, с милыми, избушечными, бревенчатыми стенами, – он прямо, вот, глаза боялся поднять: а вдруг она а вдруг Маруся – по глазам увидит, какие мысли... Ах, проклятый Гуслийкин!

А Шмит говорил своим ровным, ясным, как лед, голосом:

– Гм... так, говорите, вам понравился Рафаэль картофельный? Да уж, хорош Сахар Медович! За хорошие дела к чертям на кулички генерала не засунули б. И теперь, вот, где солдатские деньги пропадают, где – лошадиные кормовые? Я уж чую, я чу-ую...

– Ну, Шмит, ты уж это слишком, – сказала Маруся ласково.

Не вытерпел Андрей Иванович: с противным самому себе любопытством поднял глаза. Шмит сидел на диване, Маруся стояла сзади под пальмой. Перегнулась сейчас к Шмиту и тихонько, один раз, провела по жестким Шмитовым волосам. Один раз, – но, должно быть, так нежно, должно быть, так нежно.

У Андрея Ивановича так и екнуло. «Но какое мне дело?» Никакого, да. А щемит все сильнее. «Если бы вот так когда-нибудь мне один раз, только один раз...»

Проснулся Андрей Иванович, когда Шмит назвал его имя.

– ...Андрей Иванович у нас один-единственный, агничик невинный. А то все на подбор. Я? Меня сюда – за оскорбление действием, Молочку – за публичное непотребство. Нечесу – за губошлебство. Косинского – за карты... Берегитесь, агничик: сгинете тут, сопьетесь, застрелитесь...

Может оттого, что Маруся стояла под пальмой, или от усмешки Шмитовой – но только невтерпеж – Андрей Иванович вскочил:

– Это уж вы, знаете, слишком, уж на это-то меня хватит, чтобы не спиться. Да и что вам за дело?

– Ка-кой же вы! – засмеялась Маруся, золотая паутинка – самая последняя секундошка – зазвенела. – Ведь ты же, Шмит, шутишь? Ведь, да?

Опять нагнулась к Шмиту из-за дивана. «Только б не гладила... Не надо же, не надо», – молился Андрей Иванович, затаил дух... Кажется, она что-то спросила – ответил наобум-Лазаря:

– Нет, благодарю вас...

– То есть, как – благодарю? Вы о чем же это изволите думать? Ведь я спросила, были ли вы у Нечесов.

И только, когда Шмит уходил, Андрей Иванович становился Андрей Ивановичем, нет никакого Гуслиякина, не надо бояться, что она погладит Шмита, все просто, все ласково, все радостно.

Когда вдвоем – тут и думать не надо, о чем говорить: само говорится. Так и скажут, и играют слова, как весенний дождь. Такой поток, что Андрей Иванович обрывает, не договаривает. Но она должна понять, она понимает, она слышит самое... Или, может, так кажется? Может, Андрей Иванович придумал себе свою Марусю? Ах, все равно, лишь бы...

Запомнился – уложен в ларчик драгоценный – один вечер. То все ведро стояло, теплынь, без шинелей ходили, это в ноябре-то. А тут вдруг дунуло сиверком. Синева побледнела, и к вечеру – зима.

Андрей Иванович и Маруся огня не зажигали, сидели, вслушиваясь в шушуканье сумерек. Пухлыми хлопьями, шапками сыпался снег, синий, тихий. Тихо пел колыбельную – и плыть, плыть, покачиваться в волнах сумерек, слушать, баюкать грусть...

Андрей Иванович отсел нарочно в дальний угол дивана от Маруси: так лучше, так будет только самое тонкое, самое белое – снег.

– Вот, дерево теперь все белое, – вслух думала Маруся, и на белом дереве – птица, дремлет уж час и два, не хочет улететь...

Тихое снежное мерцанье за окном. Тихая боль в сердце.

– Теперь и у нас, в деревне, зима, – ответил Андрей Иванович. – Собаки зимою ведь особенно лают, вы помните? Да? Мягко и кругло. Кругло, да... А в сумерках – дым от старновки над белой крышей, такой уютный. Все синее, тихое, и навстречу идет баба с коромыслом и ведрами...

Марусино лицо с закрытыми глазами было такое тревожно-бледное и нежное от снежных отсветов... Чтобы не видеть – уж лучше не видеть, – Андрей Иванович тоже закрыл глаза...

А когда зажгли лампу, ничего уж не было, ничего такого, что привиделось без лампы.

И эти все слова о дремлющей на снежном дереве птице, синем вечере – показались такими незначущими, не особенными.

Но запомнились.

6. Лошадиный корм.

У русской печки – хайло-то какое ведь: ненасытное. Один сноп спалили и другой, и десятый – и все мало, и заваливают еще. Так, вот, и генерал за обедом: уж и суп поел, и колдунов литовских горку, и кашки пуховой гречишной покушал с миндальным молоком, и равиолей с десяток спровадил, и мяса черкасского, в красном вине тушеного, две порции усидел. Несет зайченок-повар новое блюдо – хитрый какой-то паштет, крепким перцем пахнет, мушкатом, – как паштета не с'есть? Душа генеральская хочет паштета, а брюхо уж по сих пор полно. Да генерал хитер: знает как брэнное тело заставить за духом итти.

– Ларька, вазу мне, – квакнул генерал.

Покатился самоварный Ларька, мигом приташил генералу большую, длинную и узкую, вазу китайского расписного форфора. Отвернулся в сторонку генерал и облегчился на древне-римский манер.

– Ф-фу! – вздохнул затем – и положил себе на тарелку паштета кусок.

За хозяйку сидела не генеральша: посади ее – натворит еще чего-нибудь такого. Сидела за хозяйку свояченица Агния, с веснущатым, вострым носом. А генеральша устроилась поодаль, ничего почти что не ела, глазами была не здесь, прихлебывала все из стаканчика.

Покушав, генерал пришел в настроение:

– А ну-ка скажи, Агния, знаешь ли ты, когда дама офицером бывает, – ну, знаешь?

Веснущатая, дощатая, выцветшая Агния почуяла какую-то каверзу, заерзала на стуле. Нет, не знает она...

– Ух ты-ы! Как же ты не знаешь? Тогда дама бывает офицером, когда она бывает... в каком чине? В каком чине, а? Поняла?

Затрепыхалась, заалела, закашляла Агния: кх-кх-кх! Куда и деваться не знала. Чай, ведь – девица она – и этакое... скоромное... А генерал заливался: сначала внизу, в бур-болоте на дне, а потом наверху, тоненькой лягушечкой.

Забылась Агния, занялась паштетом, глаза – в тарелку, быстро, быстро отправляла крошечные кусочки в рот. А генерал медленно нагибался, нагибался к Агнии, замер – да как гукнет вдруг на нее этаким басом, как из бучила:

– Г-гу-у!

Ихнула Агния благим матом, сидя, запрыгала на стуле, заморгала, запричитала:

– Штоп тебе... штоп тебе... штоп тебе...

Раз двадцать этак вот «штоп тебе» – и под самый конец тихонько: провалиться, – штоп тебе провалиться, пр-ровалиться"... Была у Агнии такая чудная привычка: все пугал ее со скуки из-за углов генерал – вот и привыкла.

Любил генерал слушать Агниевы причитанья, – разгасился, никак не передохнет – хохочет:

– Охо-хо, вот кликуша-то, вот порченная, вот дурья-то голова, охо-хо!

А генеральша прихлебывала, не слышала, далеко где-то, не тут жила.

Прикатился Ларька – запыхался.

– Ваше преосходительство, там капитан Шмит вас желает видеть.

– Шмит? Вот принесло... И поесть толком не дадут, ч-чорт! Проси сюда.

Свояченица Агния выскочила из-за стола в соседнюю комнату, и скоро в дверной щели уже заходил веснущатый ее нос, однажды мелькнувший Андрею Иванычу.

Вошел Шмит, тяжелый, высокий. Пол заскрипел под ним.

– А-а-а, Николай Пе-тро-вич, здравствуйте. Не хотите ли, миленочек, покушать? Вот, равиоли есть, пррев-вос-ходные! Сам, неженчик мой, стряпал: им, паршивцам, разве можно доверять? Равиоли вещь тонкая, из таких все деликатностей: мозги из костей, пармезанец

опять же, сельдерей молоденький – ни-и-как не старше июльского... Не откажи, голубеночек.

Шмит взял на тарелку четырехугольный пирожок, равнодушно глотнул и заговорил. Голос – ровный, граненый, резкий, и слышится – на губах – невидная усмешка.

– Ваше превосходительство, капитан Нечеса жалуется, что лошади не получают овса, на одной резке сидят. Это совершенно немыслимо. Сам Нечеса, конечно, боится притти вам сказать. Я не знаю, в чем тут дело. Может, это ваш любимчик, как его... Мундель-Мандель; ну как его...

У генерала – прелестнейшее настроение: зажмурил свои буркалы и мурлычит:

– Мендель-Мандель-Мундель-Мондель... Эх, Николай Петрович, голубеночек, не в том счастье. Ну, чего тебе, еще надо? Видел я намедни Марусю твою. Ну, и кошечка же, ну и милочка – н-т-ц-а, вот что... И подцепил же ты! Ну, какого еще рожна тебе надо, а?

Шмит сидел молча. Железно-серые, небольшие, глубоко всаженные глаза еще глубже ушли. Узкие губы сжались еще уже.

Генеральша только сейчас услышала Шмита, поймала кусочек и спросила треснуто:

– Нечеса?

И забыла, замолкла. В дверной щели все ходил вверх и вниз веснушчатый вострый нос.

Шмит настойчиво и уже со злостью повторил:

– Я еще раз считаю долгом доложить вашему превосходительству: лошадиные кормовые куда-то пропадают. Я не хочу пускаться в догадки – кто, Мундель или не Мундель...

Вдруг опять проснулась генеральша, услышала: Мундель, – и ляпнула:

– Кормовые-то? Это вовсе не Мундель, а он, – кивнула на генерала. – Ему на обеды не хватает, проедается очень, – и засмеялась генеральша почти весело.

Шмит, как сталью, уперся взглядом в генерала:

– Я давно это знаю, если уж по правде говорить. И главное деньги пропадают, люди могут думать на меня, я – казначей. Этого я не могу допустить.

Узко сжаты Шмитовы губы, все лицо спокойно, как лед. Но как синий напряженный лед в половодье: секунда – и ухнет с грохотом хлынет сокрушающая, неистовая, весенняя вода.

А генерал хлынул уже. Зяпнул нутряным своим басом:

– До-пус-тить? Ка-ак-с?

И оступился на злючий визг:

– Капитан Шмит, встать, руки по швам, с вами говорит генерал Азанчеев!

Шмит встал, спокойный, белый. Генерал тоже вскочил, громыхнул стулом и накинулся на Шмита, осыпал, оглоушил:

– М-мальчишка! Ты с-смеешь не до-пу-скать, а? Мне, Азанчееву? Да ты з-знаешь, я т-тебя в двадцать четыре часа...

Искал, чем бы кольнуть Шмита побольнее:

– Да давно ли ты стоял тут и просил разрешения, да-р-разрешения у меня жениться. А теперь завел себе девчонку хорошенькую – и д-думаешь, и уж б-большой стал, и все тебе можно! М-мальчишка!

– Как... вы... сказали? – отрубил Шмит по одному пронзительные – трехлинейные пульки – слова.

– ...Девчонку, говорю, завел, так и думаешь! Погоди-ка, миленок, будет она по рукам ходить, как и прочие наши. А то ишь-ты, мы-ста, не мы-ста!

Твердый, выдвинутый вперед подбородок у Шмита мелко дрожал. Пол скрипнул, Шмит сделал шаг – отвесил генералу резкую, точную, чеканную, как и сам Шмит, оплеуху.

И тут все перемешалось. Как, вот, бывает, когда ребятенки катятся с горы на ледяшках, и в самом низку налетят друг на друга: брызнет от взрытого сугроба снег, салазки – вверх полозьями, и визг веселый, и жалобный плач ушибленного.

Метнулся Ларька, услужливо подставил стул, генерал плюхнулся, как мешок. Дверная щель разверзлась. Свояченица Агния вскочила в родимчике и полоумно причитала: штоп, штоп, штоп провалиться... Генеральша держала стакан в руке и треснуто, пусто смеялась – так пустушка смеется на колокольне по ночам.

Генерал, без голосу, нутром просипел:

– Под суд... У-пе-ку...

Шмит отчеканил по-солдатски:

– Как прикажете, ваше превосходительство.

И налево кругом.

Ларька любил сильные сцены: довольно крутил головой, пыхтел как самовар, и обмахивал генерала салфеткой. Агния ихала, генеральша маленькими глоточками отпивала из стаканчика.

7. Человечьи кусочки.

Молочко пристал к Андрею Ивановичу, как банный лист.

– Нет уж, атанде. Месяц уж, как приехал, и ни разу в собрание не заглянул, – можете себе представить? Это с вашей стороны свинство. К Шмитам, небось, каждый день шлындаете!

Андрей Иваныч зарозовел чуть приметно. «Правда, если и сегодня пойти к Шмитам, – это уж будет окончательно ясно, это значит – сознаться»... Что – ясно и в чем – сознаться, этого Андрей Иваныч еще и себе сказать не насмелился.

– Ладно, чорт с вами, иду, – отмахнулся Андрей Иваныч.

В раздевальной висело десятка полтора шинелей. Краска еще сырая малость: ноги прилипали к полу, пахло скипидаром. Молочко без отдыха молол что-то над ухом, забивал мусором Андрею Ивановичу голову:

– Ну, что, каково у нас? А каланча-то наверху! Новенькое, а? Нет, а вот, можете себе представить: слыхал я, будто есть такая несгораемая краска, каково, а? А вы читали, как у французов театр с людьми погорел, а? Сто человек, каково? Я за литературой очень слежу...

Наверху в зале табашники так натабачили, что хоть топор вешай. И в гомоне, в рыжем тумане – не люди, а только кусочки человечьи: там – чья-то лысая, как арбуз, голова; тут в низку, отрезанные облаком, косолапые капитан-Нечесовы ноги поодаль – букет повисших в воздухе волосатых кулаков.

Человечьи кусочки плавали, двигались, существовали в рыжем тумане самодовлеюще – как рыбы в стеклянной клетке какого-то бредового аквариума.

– А-а, Половец, давно, брат, пора, давно!

– Где пропадал, почему не являлся?

Кусочки человечьи обступили Андрея Иваныча, загалдели, стиснули. Молочко нырнул в туман – и пропал. Капитан Нечеса знакомил с какими-то новыми: Нестеров, Иваненко, еще кто-то. Но все казались Андрею Ивановичу на один лад: как рыбы в аквариуме.

Два зеленых стола были раскрыты. Тусменным светом мазали по лицам свечи. Андрей Иваныч просунулся вперед – поглядеть: как играют тут, на куличках, так же ли яро, как в Тамбове далеком, или уж, может, соскучились, надоело?

Над столом висела лысая, как арбуз, тускло блестящая голова, и ровными рядами разложены были карты. Арбуз морщил лоб, что-то шептал, тыкал в карты пальцем.

– Что это? – обернулся Андрей Иваныч к капитану Нечесе.

Нечеса пошмурыгал носом и сказал:

– Наука имеет много гитик.

– Гитик?

– Ну да. Что вы с неба, что ли, свалились? Фокус такой...

– Но почему... но почему же никто не играет в карты? Я думал... – Андрей Иваныч уже робел, видел – кругом ухмыляются.

Капитан Нечеса добродушно-свирепо пролаял:

– Пробовали, брат, пробовали, игрывали... Перестали. Будет.

– Да почему?

– Да уж очень у нас много, брат, гениев, да, по части карт. Играют уж очень хорошо. Да. Не антиресно...

Андрей Иваныч сконфузился, будто он в том виноват был, что играют уж очень хорошо, и отошел.

Часов в одиннадцать всей ордой двинулись ужинать. И следом из карточной переплыл в столовую табачный дым, и опять засновали в рыжих облаках самодовлеющие человечьи кусочки: головы, руки, носы...

В столовой увидели печально-длинный и свернутый совершенно противозаконно в сторону нос поручика Тихменя. Развеселились.

– А-а, Тихмень! Ну, как Петяшка?

– Зубки-то режутся? Хлопот-то, небось, тебе, а?

Капитан Нечеса блаженно улыбался и ничего теперь на свете не слышал: наливал себе зубровки. Тихмень серьезно и озабоченно ответил:

– Мальчишка плохенький, боюсь – трудно будет с зубами.

Залп хохота, развеселого, из самых что ни на есть утроб.

Тихмень сообразил, устало махнул рукой, сел за стол рядом с Андреем Ивановичем.

На конце стола, за хозяина, сидел Шмит. Он и сидя был выше всех.

Шмит позвонил. Подскочил бойкий, хитроглазый солдат с заплаткой на колене.

«Должно быть, ворует»... – почему-то подумал Андрей Иванович, глядя на заплатку.

Через минуту солдат с заплаткой принес на подносе огромный зеленого стекла японский стакан. Все заорали, захохотали:

– А-а, Половца крестить! Так его, Шмит!

– Морского зверя-китовраса!

– Это, брат, китоврас называется: ну-ка?

Андрей Иванович выпил жестокую смесь из полыни и хины, вытаращил глаза, задохся – не передохнуть – не мог. Кто-то подставил стул, и о вновь окрещенном забыли, или это он был без памяти...

Очнулся Андрей Иванович от скрипучего голоса, жалобно-надоедно одно и то же повторявшего:

– Это не шутка. Если б я знал... Это не шутка... Если б я знал наверно... Если б я...

Медленно, трудно понял Андрей Иванович: это Тихмень. Спросил:

– Что? Если б что знал?

– ...Знал бы наверно: мой Петяшка или не мой?

«Он пьян, да. А я не»...

Но на этом месте сбил Андрея Ивановича смех и рев. Хохотали, ложились на стол, поми- рали со смеху. Кто-то повторял последнюю – под занавес – фразу скоромного анекдота.

Теперь стал рассказывать Молочко... рассказывали, должно быть, уж давно. Молочко раскраснелся, смаковал, так и висели в воздухе увесистые российские слова.

Вдруг с конца стола Шмит крикнул резко и твердо:

– Заткнись, дурак, больше не смей! Не позволю.

Молочко дернулся-было со стула вскочил – и сел. Сказал неуверенно:

– Сам заткнись.

Замолчал. И все примолкли. Качались, мигали в тумане человечьи кусочки: красные лица, носы, остеклевшие глаза.

Кто-то запел, потихоньку, хрипло, завыл, как пес на тоскливое серебро месяца. Подхватили в одном конце стола и в другом, затянули тягуче, подняв головы кверху. И вот уже все заунывно, в один голос, воют по-волчьи:

У попа была собака,
Он ее любил.
Раз собака с'ела рака
Поп ее убил.
Закопал свою собаку,

Камень привалил.
И на камне написал:
У попа была собака,
Он ее любил.
Раз собака с'ела рака...

Часы пробили десять. Заколдовал бессмысленный, как их жизнь, бесконечный круг слов, все выли и выли, поднявши головы. Пригорюнились, вспомнили о чем-то. О чем?

– Б-бум: половина одиннадцатого. И вдруг почувял Андрей Иванович с ужасом, что и ему до смерти хочется запеть, завывать, как и все. Сейчас он, Андрей Иванович, запоет, сейчас запоет – и тогда...

«Что ж это, я с ума... мы с ума все сошли?»

Стали волосы дыбом.

...Поп ее убил,
Закопал свою собаку...
И на камне написал:
У попа была собака...

И запел бы, завыл Андрей Иванович, но сидевший справа Тихмень медленно сполз под стол, обхватил Андрея Ивановича за ноги и тихо, – может, один Андрей Иванович и слышал, – жалобно заскулил:

– Ах, Петяшка мой, ах, Петяшка...

Андрей Иванович вскочил, в страхе выдернул ноги. Побежал туда, где сидел Шмит. Шмит не пел. Глаза суровые, трезвые. «Вот он, один он может спасти»...

– Шмит, проводите меня, мне нехорошо, зачем поют?

Шмит усмехнулся, встал. Пол заскрипел под ним. Вышли.

Шмит сказал.

– Эх вы! – и крепко сжал Андрею Ивановичу руку.

... «Вот хорошо, крепко. Значит, он еще меня»...

Все крепче, все больнее. «Крикнуть? Нет»... Хрустнули кости, боль адская.

«И Шмит, и Шмит сумасшедший?»

– Вы все-таки ничего, терпеливы, – усмехнулся Шмит и пристально заглянул Андрею Ивановичу в глаза, обвел усмешкой огромный Андрей-Иванычев лоб и робко угнездившийся под сенью лба курнофеечку-носик.

8. Соната.

Весь день после вчерашнего было тошно и мутно. А когда пополз в окно вечер – мутное закутало, захлестнуло вконец. Не хватало силушки остаться с собой, так вот – лицом к лицу. Андрей Иванович махнул рукой и пошел к Шмитам.

«У Шмитов рояль, надо поиграть, правда. А то, этак и совсем разучиться недолго...» – хитрил Андрей Иванович с Андреем Ивановичем.

Маруся сказала невесело:

– Ах, вы знаете: Шмита, ведь, на гауптвахту посадили на три дня. За что? Он даже мне не сказал. Только удивлялся очень, что пустяки – на три дня. «А я, говорит, думал»... Вы не знаете, за что?

– Что-то с генералом у него вышло, а что – не знаю...

Андрей Иванович сразу сел за рояль. Весело перелистывал свои ноты: «А Шмита-то нет, а Шмита посадили».

Выбрал Григовскую сонату.

Уж давно Андрей Иванович в нее влюбился: так как-то, с первого же разу по душе ему пришлась.

Заиграл теперь – и в секунду среди мутного засиял зелено-солнечный остров, и на нем...

Нажал левую педаль, внутри все задрожало. «Ну, пожалуйста, тихо – совсем тихо, еще тише: утро – золотая паутинка... А теперь сильнее, ну – сразу солнце, сразу – все сердце настежь. Это же для тебя – смотри, на...»

Она сидела на самодельной, крытой китайским шелком тахте, подперла кулачком узкую свою и печальную о чем-то мордочку. Смотрела на далекое – такое далекое – солнце.

Андрей Иванович играл теперь маленький, скорбный четырехбемольный кусочек.

... Все тише, все медленней, медленней, сердце останавливается, нельзя дышать. Тихо, обрывисто – сухой шопот – протянутые, умоляющие о любви, руки – мучительно пересохшие губы, кто-то на коленях... «Ты же слышишь, ты слышишь. Ну вот – ну, вот, я и стал на колени, скажи, может быть, нужно что-нибудь еще? Ведь все, что...»

И вдруг – громко и остро. Насмешливые, быстрые хроматические аккорды – все громче – Андрею Ивановичу кажется, что это у него бывает – у него может быть такой божественный гнев, он ударяет сотрясаясь три последних удара – и тихо.

Кончил – и ничего нет, ни гнева, ни солнца, он просто – Андрей Иванович, и когда он обернулся к Марусе – услышал:

– Да, это хорошо. Очень... – выпрямилась. – Вы знаете: Шмит, жестокий и сильный. И вот: ведь даже жестокостям Шмитовым мне хорошо подчиняться. Понимаете: во всем, до конца...

Паутинка – и смерть. Соната – и Шмит. Ни к чему, как будто, а заглянуть...

Андрей Иванович встал из-за рояля, заходил по ковру. Маруся сказала:

– Что же вы? Кончайте, ну-у... Там же еще менуэт.

– Нет, больше не буду, устал, – и все ходил Андрей Иванович, все ходил по ковру.

– ...Я иду по ко-вру, ты и-дешь, по-ка врешь, – вдруг забаловалась Маруся и опять стала веселая, пушистая зверушка.

Победила то, о Шмите, в Андрее Ивановиче, он засмеялся:

– Баловница же вы, погляжу я.

– О-о-о... А какая я была девченкой – ух ты, держись! Все на ниточку привязывали к буфету, чтобы не баловала.

– А теперь разве не на ниточке? – подковырнул Андрей Иванович.

– Хм... может, и теперь на ниточке, правда. А только я тогда, бывало, делала, чтоб упасть и оборвать – нечаянно... Хи-итрущая была! А то, вот, помню сад у нас был, а в саду сливы, а в городе – холера. Немытые сливы мне есть строго-настрога заказали. А мыть скучно и долго. Вот я и придумала: возьму сливу в рот, вылижу ее, вылижу дочиста и ем, – что ж, ведь она чистая стала...

Смеялись оба во всю глубину, по детски.

«Ну еще, ну еще посмейся!» – просил Андрей Иванович внутри.

Отсмеялась Маруся – и опять на губах печаль:

– Ведь я тут не очень часто смеюсь. Тут скучно. А может, даже и страшно.

Андрею Ивановичу вспомнилось вчерашнее, воющие на луну морды, и он сам... вот сейчас запоет...

– Да, может, и страшно, – сказал он.

– А правда, – спросила Маруся, – к нам чугунку будто проведут, – сядем и поедем?

Неслышно вошел и столбом врос в притолку денщик Непротошнов. Его не видели.

Кашлянул:

– Ваше-скорodie. Барыня...

Андрей Иванович с злой завистью взглянул в его рыбы глаза: «Он здесь каждый день, всегда около...»

– Ну, что там?

– Там поручик Молочко пришли.

– Скажи, чтоб сюда шел, – и недовольно-смешно сморщив лоб, Маруся обернулась к Андрею Ивановичу.

«Значит, она хотела, она хотела, чтоб мы вдвоем», – и радостно встретил Молочку Андрей Иванович.

Вошел и запрыгал Молочко, и заболтал: посыпалось как из прорванного мешка горох, – фу ты, Господи! Слушают – не слушают, все равно: лишь бы говорить и своим словам самому легонько подхохатывать.

– ...А Тихмень вчера под стол залез, можете себе представить? И все про Петяшку своего...

– ...А у капитана Нечесы несчастье: солдат Аржаной пропал, вот подлец, каждую зиму сбегает...

– ...А в Париже, можете себе представить, обед был, сто депутатов, и вот после обеда стали считать, а пять тарелок серебряных и пропало. Неужли депутаты? Я всю дорогу думал, я знаю – ночью теперь не засну...

– Да, вы, заметно, следите за литературой, – улыбнулся Андрей Иванович.

– Да, ведь я говорил вам? Как же, как же! За литературой я очень слежу...

Андрей Иванович и Маруся переглянулись украдкой и еле спрятали смех. И так это было хорошо, уж так хорошо, – они вдвоем, как заговорщики...

Андрей Иванович любил сейчас Молочку. «Ну еще, милый рассказывай еще...»

И Молочко рассказывал, как один раз на пожаре был. Пожарный прыгнул вниз с третьего этажа и остался целехонек., – «можете себе представить»? И как фейерверкер заставил молодого солдата заткнуть ружье полый полушубка и пальцем: так, мол, пулю удержит.

– И оторвало ведь палец, можете себе представить?

Уже все высмеяла Маруся – весь свой смех истратила – и сидела уже не улыбой. Андрей Иванович встал, чтоб итти домой.

Прощались. «Поцеловать руку или так?» Но первым подскочил Молочко, нагнулся, долго чмокал Марусину руку. Андрей Иванович только пожал.

9. Два Тихменя.

Поручик Тихмень не даром лез под стол: дела его были вконец никудышные.

Была у Тихменя болезнь такая: думать. А по здешним местам – очень это нехорошая болезнь. Уж блаже водку глушить перед зеркалом, блаже в карты денно и ночью резаться, только не это.

Так толковали Тихменю добрые люди. А он все свое. Ну и дочитался, конечно додумался: «Все, мол, на свете один только очес призор, впечатление мое, моей воли тварь». Вот те и раз: капитан-то Нечеса – впечатление? Может, и все девять Нечесят с капитаншей в придачу – впечатление? Может, и генерал сам – тоже?

Но Тихмень таков: что раз ему втемяшилось – в том заматореет. И продолжал он пребывать в презрении к миру, к женскому полу, к детоводству: иначе Тихмень о любви не говорил. Дети эти самые – всегда ему, как репей под хвост.

– Да помилуйте, что вы мне будете толковать? А по моему, все родители – это олухи, караси, пойманные на удочку, да. Дети так называемые... Да для ходу, для ходу-то – это же человеку тачка к ноге, карачун... Отцвет, продажа на слом – для родителей-то... А впрочем, господа, вы смеетесь, ну и чорт с вами!

А как же не смеяться, ежели нос у Тихменя такой длинный и свернут направо, и ежели машет он руками, как вот мельница-ветрянка. Как же не смеяться, ежели скептиком великим Тихмень бывает исключительно в трезвом своем образе, а чуть только выпьет... А ведь тут на отлете, в мышеловке, на куличках, прости Господи, у чорта, – тут как же не выпить?

И, выпивши, всякий раз обертывается презрительный Тихмень идеалистом: как в древнем раю тигр с ягненком очень мило уживаются в душе у русского человека.

Выпивши, Тихмень неизменно мечтает: замок, прекрасная дама в голубом и серебряном платье, а перед нею – рыцарь Тихмень, с опущенным забралом. Рыцарь и забрало – все это удобно потому, что забралом Тихмень может закрыть свой нос и оставить открытыми только губы, – словом, стать прекрасным. И вот, при свете факелов свершается таинство любви, течет жизнь так томно, так быстро, и являются златокудрые дети...

Впрочем, протрезвившись, Тихмень костил себя олухом и карасем с неменьшим рвением, чем своих ближних, и исполнялся еще большею ненавистью к той субстанции, что играет такие шутки с людьми, и что люди легкомысленно величают индейкой.

Год тому назад... да, это так: уже почти год прошел с того дня, как ироническая индейка так подло посмеялась над Тихменем.

Были святки – несуразные, разгильдяйские, вдрызг пьяные тутошние святки. Поручик Тихмень в первый же день навизитился, накулюкался и к ночи вернулся домой рыцарем, опустившим забрало.

Капитана Нечесы не было дома, ребят уж давно уложил спать капитанский денщик Ломайлов. Одна перед празднично вкусным столом скучала капитанша Нечеса: ведь первый день всегда празднично-скучен.

Непривычно-галантно поцеловал руку у прекрасной дамы рыцарь Тихмень. И принимая из ее ручек порцию гуся, сказал:

– Как я рад, что ночь.

– Почему же это вы рады, что ночь?

Тверезый Тихмень ответил бы в виде любезности самое большее: «Потому что ночью все кошки серы». А рыцарь Тихмень сказал:

– Потому что ночью является нам то прекрасное, что скрыто от нас дневным светом.

Это было по вкусу капитанше: она заиграла всеми своими бесчисленными ямочками, тряхнула кругленькими кудряшками на лбу и пустила против Тихменя свои атуры.

Откушали и пошли в капитаншин будуар, он же – спальня.

И опять: тверезый Тихмень – как огня бежал всегда этого приюта любви, двух слоноподобных кроватей, двух рядом почивающих на вешалке китайских халатов, в которых капитан и капитанша щеголяли ранним утром и поздним вечером. А рыцарь Тихмень охотно и радостно пошел в этот замок за прекрасной дамой.

Здесь рыцарь и его дама сели играть «в извозчики»: на листе бумаги огрызком карандаша поставили кружки-города и долго возили друг дружку, и старались запутать.

Впоследствии рыцарь уже водил по бумаге рукой своей дамы, дабы облегчить ее труд. И так незаметно доехали они до Катюшкиной кровати...

Не будь этого проклятого дня, что были бы Тихменю все дурацкие шутки по части Петяшки? Нуль, сущее наплевать. А теперь... да, чорт его ведает, может, и правда Петяшка-то...

– Ах, ты, олух, идиотина, карась!

Так хватался за голову Тихмень и частил себя... трезвый.

А пьяный горевал о том, что не знает наверняка, чей Петяшка. Прямо вот – сердце разрывалось у пьяного, и неизвестно ведь, как и узнать. Правда ведь, а?

Но сегодня Тихмень вернулся веселыми ногами после обеда званого у генерала и знал, что сделать, знал, как узнать про Петяшку.

– А, что, с'ела? А я, вот, узнаю... – поддразнивал Тихмень неведомую субстанцию.

Было еще рано, у генерала еще пир шел горой, еще Нечеса там остался, а Тихмень нарочно, специально, чтоб узнать, тихохонько пробрался домой – и прямо в будуар.

Капитанша лежала еще в кровати: от частых родов что-то у ней там затрюкалось, и вот уже месяц – все поправиться как следует с силами не соберется.

– Здравствуй, Катюша, – поцеловал Тихмень кругленькую ручку.

– Что-то ты, милый, вежлив, как... тогда был. Не забудь, что тут дети.

Да, здесь все, как и тогда: и кровати-слоны, и на вешалке халаты. Только, вот, дети: восемь душ, восемь чумичек, мал-мала меньше, и за ними сзади, как Топтыгин на задних лапах – денщик Яшка Ломайлов.

– А ты отошли детей, мне надо поговорить, – серьезно сказал Тихмень.

Капитанша мигнула Яшке, Яшка и восемь ребят испарились.

– Ну что, ну какого еще рожна тебе говорить? – спросила капитанша сердито. А внутри так и запольхало любопытство: «Что такое? О чем может этот статуй?»

Тихмень долго скрипел, колумесил околицей: все никак духу не хватало настоящее сказать.

– Видишь ли, Катюша... Это сразу, оно может и так показаться, тово... Ну, одним словом, чего там, желаю я твердо знать: мой Петяшка наверняка – или не мой.

Уж и так круглые, а тут и еще покруглели капитаншины глазки и молча уставились в Тихменя. Потом прыснула она, затрясла кудерьками:

– Вот дурашный, ну и дурашный, рассмешил, ой, ей-Богу! Ну, а если я не знаю – тогда что?

– Взаправду – не знаешь?

– Вот чудород! Да что мне, – трудно бы тебе сказать, что ли, было? Не знаю – и весь сказ. Вот еще допросчик нашелся.

... «и она не знает, пропало теперь дело»... Пошел Тихмень в свою комнату, нос повесил.

В коридорчике налетел на капитана Нечесу: тот тоже себе шел, ничего не видя.

– А, ч-чорт тебя возьми! Ты что это, нос-то на квинту, а? – ругнулся капитан.

Тихмень взглянул на Нечесу: эге!

– А ты что на квинту?

– Э-э, брат. У меня горе: Аржаной сбежал, ну и это еще наплевать бы, а то нашелся теперь, и оказывается – манзу прихлопнул.

– А у меня... – и, не сказав, махнул Тихмень безнадежно.

10. Солдатушки, браво, ребятушки.

Который настоящий да хороший мужик – тот, если за сохой походил да землю нюхнул, так уж во-век этого духу земляного не забудет. Должно быть, что и с Аржаным вот так. Пошлют Аржаного, скажем, за водой на ротной Каурке, – он таким гоголем по улице прокатит, что мое почтение. Или лопату сунут Аржаному в лапы: опять комья так и летят, яма – сама собой строится. И так вот со всяким хозяйственным делом. А поставили его в строй, – он и рот разинул. Сущее с ним горе капитану Нечесе: мужичина Аржаной здоровенный-правофланговый, а стоит, рот разиня, вот ты и делай с ним, что хочешь...

– Аржано-ой! Ты что чучелом таким стоишь, оглобля? О чем задумался? Что у тебя в башке?

А черт его знает, что: словами-то и не сказать, пожалуй. Должно быть, росное, весеннее утро, пашни паром курятся, лемех от земли жирный, сытый землею, а в небе – жаворонка. И будто, вот, в пустельге в этой, в жаворонке, вся механика-то и есть. И все дерет Аржаной голову кверху, все рот разевает: а нету ли, мол, жаворонки той самой наверху?

– Аржаной, балаболка, штык ровняй, по средней линии, аль не видишь?

Глядит Аржаной на штык – ишь ты, солнце-то на нем как играет – глядит и думает:

– «Вот ежели бы да, например, из эстого штыка – да лемех сковать. Ох, и лемех бы вышел – новину вздрать, вот бы!»

И все это еще туда бы – сюда, все это дело домашнее. А уж вот как теперь угрешился Аржаной – манзу прихлопнул, – этого уж не покроешь, придется уж с этим к генералу итти, ах ты Господи...

Качает капитан Нечеса лохматой своей головой, качается маленький его сизый нос, заблудившийся в бороде, в усах.

– Да как же это ты, Аржаной, а? Кто же это тебя надоумил? Зачем?

Аржаной оброс за время бегов щетиной, стал еще скуластей, еще больше обветрел, земле предался.

– Такое вышло дело, ваше-скорodie. Рассказали мне солдатенки проклятые, что, мол, теперича идут по большой дороге манзы эти самые и, знычть, несут панты оленьи, а пантам этим самым цена, будто, полтыщи... Ну я, знычть, убег и подстерег манзу-то...

Затопал капитан свирепо на Аржаного, залаял, начал его обкладывать – вдоль и поперек. А Аржаной стоит и ухмыляется: знает, капитан Нечеса солдата не обидит, а брань-то на вороту не виснет.

И только тогда оробел Аржаной, когда услышал, что к генералу придется итти: тут побелесел даже со страху.

Увидал это капитан Нечеса, заткнул свой ругательный фонтан, налил полстакана водки и сердито сунул Аржаному.

– На, такой-сякой, пей! Да не робь: авось, вызволим как-нибудь.

Увели Аржаного в кутузку, ходит капитан по комнате неспокоен.

«Вот начупит этакий прохвост – а ты расхлебывай, ты выкручивайся. Да еще под какую руку к генералу попадем, а то и под суд угонит»...

Ходит капитан – места не найдет. Запел свою любимую песню, она же и единственная, исполняемая капитаном:

Солдату-ушки, браво ребяту-ушки,
Да где ж ва-аши же-ена?

У Катюшки кто-то из вдыхателей сидит: ишь-ты, хохочет она кругленько как, да звонко. К Тихменю теперь хоть и не подступайся, ходит тучи чернее, – раньше хотя с ним можно было в поддавки сыграть и за игрой о горях, о печалях позабыть... Эх!

Махнувши рукой, вынимает капитан очки в черной роговой оправе. Читает капитан простым глазом, и очки надеваются в двух лишь случаях: первый – когда капитан Нечеса ремонтирует некую часть своего туалета, а второй...

Капитан Нечеса берет оружие – грошовую иголку, специально вставленную денщиком Ломайловым в хорошую ореховую ручку. Капитан Нечеса затягивает любимую свою – и единственную – песню и бродит в столовой возле стен. Некогда стены, несомненно, были оклеены превосходными голубыми обоями. Но теперь от обоев осталось лишь неприятное воспоминание, и по воспоминанию ползают рыжие, усатые прусаки.

... Наши же-ена – ружья заряже-ена.
Вот где на-ши же-ена!
Солдату-ушки, браво ребяту...
– Ага, дьявол, попался! Та-ак!

На грошовой иголке трепыхается рыжий прусак. Должно быть, от очков – лицо у капитана свиное, свирепое, а уж лохматое – не приведи Господи... Капитан кровожадно-удовлетворенно глядит на прусака, сбрасывает добычу на пол, с наслаждением растирает ногой...

Наши се-естры – сабли-ружья во-остры,
Вот где на-аши се...

– А-а, такой-сякой, в буфет лез? Будешь теперь лазить? Будешь?

И поглядеть вот сейчас на капитана Нечесу – так, ей-Богу, аж страшно: – зверь-ты-зверина, ты скажи свое имя. А кто с капитаном пуд соли с'ел, так тот очень хорошо знает, что только с тараканами капитан свиреп, а дальше тараканов нейдет.

Да вот хоть капитаншу взять: рожает себе капитанша каждый год ребят, и один на ад'ютанта похож, другой – на Молочку, третий – на Иваненко... А капитан Нечеса – хоть бы что. Не то невдомек ему, не то думает: «а пуцдай, все они – младеньчики, – все ангелы Божьи»; не то просто иначе и нельзя по тутошним местам, у чорта-то на куличках, где всякая баба, хоть самая никчemuшняя, высокую цену себе знает. Но любит капитан Нечеса всех восьмерых своих ребят, с девятым Петяшкой в придачу, – любит всех одинаково и со всеми няньчится...

Вот и сейчас, вытерши испачканные в тараканах руки о штаны, идет он в детскую, чтобы тревогу свою об Аржаном утишить. Восемь оборванных, веселых чумазных отерханов... И долго, покуда уж совсем не стемнеет, играет в кулочки с чумазыми капитан Нечеса.

Денщик Яшка Ломайлов, Топтыгин, сидит со свечкой в передней на конике и пристраивает заплату к коленке Костенькиных панталон: совсем обносился мальченка. А из капитаншина будуара, он же и спальня с слонами-кроватями, – слышен веселый Катюшкин смех. Ох, грехи! Не было бы к лету десятого!

11. Великая.

Письменным приказом Шмит был наряжен на поездку в город. Шмит удивлен был немало. Оно, положим, что дело идет о приемке новых станков прицельных. А все же на такие дела, бывало, мелкота наряжалась, подпоручики. А тут вдруг его – капитана Шмита. Ну, ладно...

Уехал. Андрей Иваныч и Маруся были на пристани. Проводили Шмита, вдвоем шли домой. Под ногами на лыжах холодным хрустом хрупал ледок. Земля – мерзлая, тусклая, голая – лежала неубранным покойником.

– А у нас там теперь – мягко, тепло, снег, – сказала Маруся. Еще глубже ушла подбородком в мягкий мех, еще больше стала пугливой, пушистой, милой зверушкой.

Вправо чернеют вихрястые от леса увалы, под ними туманная долина. И в тумане шевелятся, стали у самой дороги, как нищие, семь хромых деревянных крестов.

– «Семь крестов» – вы знаете? – кивнула туда Маруся.

Андрей Иваныч помотал головою: нет. Языком шевельнуть боялся, а то снимется и улетит вот это, что бьется в нем и что страшно назвать.

– Семь офицеров молоденьких. И не очень, чтоб давно, лет, что ли, восемь или девять... Все – в один год, как от заразы. На кладбище-то их ведь нельзя было...

... «Семь. Что ж они – отдельно, или сразу все? Да, собрание, у попа была собака... Фу, какая чепуха! Зараза. Может быть – любовь?»

Вот по такой дорожке промчался Андрей Иваныч и вслух сказал:

– Что же, ведь любовь – она и есть болезнь. Душевно-больные... Я не знаю, отчего никто не попробовал лечить это гипнозом? Наверное, можно бы.

Андрей Иваныч искал ее глаз, чтобы увидеть, слышит ли она, что он говорит, хочет сказать. Но глаза были спрятаны.

– Да, может быть, – ответила Маруся себе. – Болезнь... Как лунатики, как каталептики. Всякую боль, муку терпеть... Распяться для... для... О, все хорошо, все сладко!

Теперь Андрей Иваныч видел глаза. Они очень блестели, лучились. Но для кого, о ком?

... «Скажу, сегодня скажу ей все». Андрей Иваныч задрожал дрожью тоненькой, очень острой, и услышал ее как струну, где-нибудь в самом конце клавиатуры направо, – все звенела и звенела.

Прежде чем войти в поселок, они остановились и последний раз оглянулись на небо. В разодранных облаках полымем полыхала заря: всплеснулось что-то тревожно-красное снизу и застыло, нависло, нагнулось, растет...

Милая бревенчатая столовая Шмитов. Знакомый запах – не то зябрея, не то зверобоя. Но раньше все здесь было простое, полевое, спокойное. А теперь двигалось, каждую секунду менялось, ждало. И никогда прежде не видел Андрей Иваныч этого красного, дрожащего, дразнящего языка лампы.

Маруся была слишком весела. Рассказывала:

– Шмит еще кадетиком был, в белом парусиновом... Он и тогда был жестокий, упрямый. Мне так хотелось, чтобы поцеловал, а он... А я на качелях качалась, было жарко. Ну, думаю, погоди же! Взяла да с качелей об землю – бряк...

Звенело остро струна в правой половине клавиатуры. «Зачем это она говорит?»

В дверь постучали. Вкатился самоварно-сияющий генеральский Ларька, где-то за ним статуем стоял в полутьме Непротошнов.

Маруся весело кивнула Ларьке, разорвала поданный им конверт, положила на стол: надо сперва досказать.

– ...об землю брякнулась – и кричу: ой, ушиблась! Тут уж, конечно, Шмитово сердце не вытерпело: где, говорит, где? Показала плечо: тут, вот. Ну, конечно, он... А я и на губы: и тут, говорю, тоже ушибла. Ну, он и губы... Вот, ведь мы хитрущие какие, женщины, – если захотим!

Засмеялась, зарозовелась, была той самой девочкой на качелях.

Вынула письмо, читала. Медленно опускались качели вниз, все вниз. Но еще держалась улыбка на лице, как озябшая осенняя пичужка на безлистном дереве: уже мороз, уж улетать пора, а она все сидит и пиликает – как будто и то же самое, что летом, но выходит совсем другое.

– Вот... я и не понимаю, не могу... Вот... вы... – и задохнулась. Протянула Маруся письмо Андрею Иванычу.

«Милостивая Государыня, голубонька Марья Владимировна. Пятнадцатого ноября сего года ваш милейший муженек нанес мне оскорбление действием (свидетели: денщик мой Ларька, генеральша моя и свояченицы Агния; последняя видела все сквозь дверную щель). Такие вещи ценятся, конечно, не тремя днями гауптвахты, которые отсидел капитан Шмит, а малость посерьезней: каторгой – от 12 лет. Дальнейшее направление этого дела, сиречь предание его усмотрению военного суда или вечному забвению, зависит всецело от вас, милая барыня Марья Владимировна. Если вы за муженька хотите расплатиться, так пожалуйста ко мне завтра в двенадцать часов дня, перед завтраком. А коли не захотите, – так в том, голубонька, воля ваша. А то бы пришли, я бы, старик, ах как бы рад был.
Почитатель ваш Азанчеев.»

Цеплялась Маруся за глаза Андрей-Иванычевы, озябшей, неверящей улыбкой молила его сказать, что неправда это, что ничего со Шмитом...

– Ведь, неправда же, ведь – неправда? – вот сейчас, кажется, станет она на колени.

– Правда, – только и мог сказать Андрей Иваныч.

– Господи, нет! – всхлипнула Маруся, все еще непокорно-детская. Положила в рот палец, из всей мочи закусила...

Андрей Иваныч молчал.

«Каторга» – медленно постигала Маруся чуждое, закованное, громыхающее слово... медленно...

Отвернулась. Какие-то странные обрывки не то смеха, не то предсмертной икоты.

– ...На минутку... в зал... ради Бога... выйдите, мне одной бы...

Одна. Встала, подошла к стене, прислонилась лицом, чтобы никто не видел... Сдвинулось в голове все, понеслось под гору без удержу. Привиделось – и откуда? – лампада под праздник, мать перед иконой ничком, такая чудная, сложенная пополам, а кто-то из них, из детей больной лежит.

«Ну, а если не пойти? Но ведь Шмита не пожалеет он, никогда. Каторга»...

... «Богородица, милая, ты ведь всегда меня любила, всегда... Не отступись, родная, никого у меня нету – никого, никого!»

Когда Андрей Иваныч снова вошел в веселую бревенчатую столовую, Маруси не было. Умерла Маруся – веселая девочка на качелях. Увидел Андрей Иваныч строгую, скорбную женщину, рожавшую и хоронившую: вот эти, вот, глубокие морщины по углам губ – разве не следы они похорон? И пусть запашет жизнь еще глубже борозды – все стерпит, все поднимет русская женщина.

Сказала Маруся спокойно, только уж очень тихо:

– Андрей Иваныч, пожалуйста... Пойдите и скажите денщику, что хорошо, что я...

– Вы? Вы пойдете?

– Да нужно, ведь иначе...

Все в Андрее Иваныче задрожало, помутилось. Он стал на колени, губы тряслись, искал слов...

– Вы... вы... вы великая... Как я любил вас...

Люблю – не посмел сказать. Маруся спокойно смотрела сверху. Только руки, пальцы заплетены очень туго.

– Мне лучше одной. Вы только послезавтра придите, когда Шмит приедет. Я не могу одна его встретить...

Ни месяца, ни звезд, небо тяжелое. Посереде улицы, спотыкаясь о замерзшую колочь, бежал Андрей Иваныч.

«Нет, нельзя допустить... Немыслимо, возмутительно. Что-нибудь надо, что-нибудь надо... У попа была собака... О Господи, да при чем это?»

Как в бреду, добежал до генеральского дома: слепые, темные окна; все спят.

«Звонить? Все раздеты. Ведь уж первый час. Немыслимо, смешно»...

Обежал еще раз кругом: нет ни единого огонька. Если б хоть один, хоть один, – тогда бы...

... До завтра?

Андрей Иваныч пощупал задний карман: «И револьвера нет, что ж я руками-то? Смешно, только выйдет смешно... Э-э»...

Так же без памяти, сломя голову, добежал до дома. Позвонил, ждал. И тут вдруг ясно представил: Маруся – и генеральское пузо, может, даже белое, с зелеными пятнами, как у лягвы. Скрипнул зубами:

– Ах я проклятый!

Но денщик Гусляйкин, ухмыляясь любезно, закрывал уже дверь на ключ.

12. Милостивец.

Нынче генерал раным-рано поднялся: к девяти часам взбодрился уж, кофею налокался и в кабинете сидел. Чинил генерал по пятницам суд и расправу.

– Ну, Ларька, кто там? Да живей поворачивайся, волчком, чтоб у меня вертелся – ну?

Генерал бухнулся в кресло: кресло аж заохало, еле на ногах устояло. Зажмурил умильно глаза, поиграл пальцами по брюшку:

«Придет, голубонька, али нет? Эх, и пичужечка же, да тонюсенькая, да веселенькая... Эх!»

Разбудил генерала густой барбосий лай капитана Нечеса:

– Вот, ваше превосходительство, Аржаной, который манзу-то убил. Тут он, привел я, позвольте доложить.

«Ох, придет же, голубонька, уважит старика, придет», – расплывался генерал, как блин в масле.

«И чего это он ухмыляется, чем доволен?» – вытаращился Нечеса. – Прикажете привести, ваше превосходительство? Они тут.

– Да веди, миленок, веди, поскорей только...

Вошли в кабинет и у двух притолок встали: Аржаной – степенный, как и всегда, хоть был он после бегов щетинист и лохмат, и свидетель, Опенкин – рябой, с бородой-мочалой, этакий, видать, кум деревенский, разговорщик, горлан.

Должно быть, если б сейчас лошадей из конюшни приволокли в кабинет, так же бы они пятились, дыбились и храпели в страхе. И так же бы, как из Аржаного с Опенкиным, клещами бы из них слова не мог вытянуть капитан Нечеса.

– Да ты не бойся, чего ты, – улещал капитан Опенкина, – твое дело сторона ведь: тебе ничего ведь не будет.

«Сторона-то сторона. А как разгасится генерал»... – молча дыбился Опенкин. Однако огляделся помалу, рот раскрыл. А уж раскрыл – и не остановить его: балакает – и сам себя слушает.

– Что ж китаец, обнаковенно, манза – манза он и есть. Стретил я его, можно-сказать, на околице, идти себе и мешшина у его зда-ровенный на спине. Ну, он мне, конечно, здраст-здраст. И-и залопотал по ихнему, и-и пошол... Ну чего, грю, тебе чудачо-ок? Ни шиша, грю, не понимаю. Чего б, мол, тебе по нашему-то, как я, говорить? И просто, мол, и всякому понятно. А то, вот, нет – накося, по-дуравьи язык ломает...

– Э-э, брат, завел! Ты лучше про Аржаного расскажи, как ты его встретил-то?

– Аржаной-то? Да как же, о Господи! Кэ-эк, это, он зачал мне про братнину жену, про ребятенок рассказывать... Мал-мала, грит, меньше, есть хочут и рты, грит, разевают. Рты, мол, разинули... И так Аржаной расквелил меня этим самым словом, так расквелил... Иду по плитуару – навозрыд, можно-сказать, и тут же перебуваюсь...

Тут даже и генерал проснулся, перестал ухмыляться чему-то своему, вылупил буркалы лягушья:

– Пере-буваюсь? Это, то есть, почему же: перебуваюсь?

И как это господа не понимают, что к чему? Вот сбил теперь Опенкина, и конец. Нешто так можно перебивать человека? Вот теперь все и забыл Опенкин, и боле ничего.

Степенно, басисто рассказывал Аржаной. Главное дело – отпустили бы его только панты эти самые откопать. А то проведуют солдатишки проклятые... А стоят-то панты эти полтыщи, о Господи...

– Ваше превосходительство, уж дозвоьте пойтить взять. Ведь наше такое, знычть, дело крестьянское, деньги-то вот как надобны, податя опять же...

Генерал опять улыбался, подпрыгивал легонечко в кресле этак вот: вверх и вниз, вверх и вниз. Щекотал себя по брюшку:

«Ах, голубонька, плачет, поди, разливается... Ах, дитенок милый, чем бы тебя разутешить? А может, пожалеть, а?»

Генерал покачал головой на Аржаного:

– Эх ты, голова-два уха! Тебе только панты. А человека тебе нипочем укокошить? Жалеть надо человека-то, миленок, жалеть, вот что.

– Ваше превосходно... Да ведь они манзы. Нешь они человеки? Так, знычть, вроде куро-птей больших. За их и Бог-то не взыщет. Ваше превосходно... дозвольте панты-то, ведь ребя-тенки, есть-пить... рты разинули...

Генерал загоготал, заходило, заплескалось его брюхо:

– Как, как? Вроде, говоришь, куро-птей? Хо-хо-хо! Ну, ладно, вот что. Вы этого сукина сына... хо-хо, куро-птей, говорит? – вы его домашним порядком – плеточкой, понимэ? И потом – отпустите его панты эти взять, чорт с ним, и – под арест на десять суток, вот-с...

Аржаной бухнулся в ноги: «Стало быть, панты-то мои?»

– Ваше превосходно... благодетель, милостивец!

Капитан Нечеса, уходя, думал:

«Ах, не спроста это, дюже что-й-то добер нынче!»

Генерал вышел в гостиную, жмурился, улыбался. У окна сидела генеральша, грела в руке стаканчик с чем-то красным.

– Чей-то, матушка, голосок я слышал? Молочко, что ли? Все еще хороводишься?

– Молочко отлынивать что-то стал, – рассеянно глядела генеральша мимо, – бородавки у себя развел, так нехорошо. Ты бы его приструнил...

Подскочила Агния. Вихлялась, подпрыгивала около генерала:

– А Молочко про Тихменя рассказывал: совсем малый спятил, все добивается, его или нет Петяшка, капитаншин девятый...

Хихикала Агния в сухой кулачок. Генерал весело ткнул ее в бок:

– А ты, Агния, когда же родишь, а? За Ларьку бы, что-ли, выходила, – что ж даром-то так пропадать?

А Ларька – как раз, вот, и пришел, и стоял в дверях. Увидала его Агния – запрыгала, запричитала: «штоп-штоп-штоп-тебе пр-провалиться»...

Ларька подкатился любовно к генералу:

– Ваше превосходительство, вас ожидают там... К вам, говорят, лично.

Так и затрепыхался генерал. «Неужто ж и впрямь пришла?»

Побежал, засеменял. Брюхо побежало впереди – выходило, будто катил его генерал перед собой на тачке. Высоко подтянутые брючки трепались над сапогами.

Что-то такое учуяла нюхом своим Агния и, сказав: «я сейчас», упорхнула от генеральши в свою комнатку.

Комнатушка – клетушка маленькая, но за то веселые, с малиновыми букетами, обои, и пахнет каким-то розовым шипучим мылом. А все стены уклеены вырезанными из «Нивы», из «Родины» портретами: все мужские портреты аккуратно Агния вырезывала и тащила к себе – и генералов, и архиереев, и знаменитых ученых.

Но не в букетах, и не в портретах даже суть. А в том, что под большим портретом императора Александра III укрыла Агния долгим трудом и искусством проделанную щель в генералов кабинет. И теперь прильнула ухом к щели и, как манну небесную, ловила все, что в кабинете творилось.

13. Кладь тяжелая.

Шмит веселый-развеселый вернулся из города: уж давно его Андрей Иванович таким не видал. Шли втроем с пристани; Шмит звал обедать. Стал было некаться Андрей Иванович, да Шмит и слышать не хотел.

– Эх, по заливу шуга идет, – говорил Шмит. – Льдинки скрипят около баркаса, машина изо всех сил стучит... Эх, хорошо, борьба!

Шел он высокий, тяжелый для земли, пил залпом морозный воздух.

– Борьба, – вслух подумал Андрей Иванович, – борьба утомляет. К чему?

– Отдых утомляет еще больше, – усмехнулся Шмит.

«Да, он устанет нескоро, – глядел Андрей Иванович на Шмита, – он бы не задумался, что спят, что нет револьвера... И ничего бы этого не было. А может, и так не было?»

В первый раз за сегодня насмелился Андрей Иванович – и взглянул на Марусю. Ничего... Но только эта недвижность лица и заплетенные крепко пальцы...

«Она была там, это... было», – захолонул весь Андрей Иванович.

– Ну, что ж ты, Маруська, делала, что во сне видела? – Шмит нагнулся к Марусе. Жесткий его, кованный подбородок исчез, весь Шмит стал мягкий.

Бывает вот, над кладью грузчики иной раз тужатся-тужатся, а все ни с места. Уж и дубинушку спели, и куплет ахтительный какой-нибудь загнули про подрядчика; ну, еще раз! – напряжились: и ни с места, как заколдовано.

Так вот и Маруся сейчас тужилась улыбнуться: всю свою силу в одно место собрала – к губам – и не может, вот – не может, ни с места, и все лицо дрожит.

Видел это – смотрел, не дыша, Андрей Иванович: «Господи, если только оглянется сейчас на нее Шмит, если только оглянется»...

Секунда, одна только секундочка бесконечная – и совладала Маруся, улыбнулась. И только голос дрожал у нее чуть приметно:

– Господи, до чего ж иной раз вещи никчемушные снятся, смешно! Мне вот, всю ночь снилось, что надо разделить семьдесят восемь на четыре части. И вот уж будто разделила, поймала, а как написать, так и опять число забыла, и нету. И опять семьдесят восемь на четыре части – не умею, теряю, а знаю – надо. Так страшно это, так мучительно...

«Мучительно» – это была форточка туда, в правду. И даже радостно было Марусе сказать это слово, напоить его всей своей болью. И опять все это поймал Андрей Иванович – снова захолонул, заледенел.

Шмит шел впереди их двоих уверенным своим, крепким, тяжелым шагом:

– Э-э, да ты, Маруська, кажись, это серьезно! Надо уметь плевать на такие пустяки. Да, впрочем, нетолько на пустяки: и на все...

И сразу Шмит, вдруг, вот, стал немил Андрею Ивановичу, нелюб. Вспомнилось, как Шмит жал ему руку.

– Вы... Вы эгоист, – сказал Андрей Иванович со злостью.

– Э-го-ист? А вы что ж думаете, милый мальчик, есть альтруисты? Хо-хо-о! Все тот же эгоизм, только дурного вкуса... Ходят, там, за прокаженными, делают всякую гадость... для-ради собственного же удовлетворения...

«Ч-чорт проклятый... А вот, что она сделала?.. Неужели... неужели ж ничего он не замечает, не чувствует?»

А Шмит смеялся:

– Э-го-ист... А барышня писала: «игоист», – они все ведь безграмотные... Ах, Господи, да кто ж это мне рассказывал? Сидят на скамейке, она зонтиком на песке выводит: и... т, –

«Угадайте, – говорит, – это я написала о вас». Обожатель глядит читает, конечно, «идиот», – что ж еще? И трагедия... А было-то «игоист»...

Марусе нужно было смеяться. Опять: заколдованная кладь, грузчики напряжились изо всех сил... Закусила губы, побледнел Андрей Иванович...

Засмеялась, наконец, – слава Богу, засмеялась. Но в ту же секунду раскололся ее смех, покатались, задребезжали осколочки, хлынули слезы в три ручья.

– Шмит, милый! Я больше не могу, не могу, прости, Шмит, я тебе все расскажу... Шмит, ты ведь поймешь, ты же должен понять! – иначе – как же?

Всплескивала маленькими своими детскими ручонками, тянулась вся к Шмиту, но не смела тронуть его: ведь она...

Шмит повернулся к Андрею Ивановичу, к искаженному его лицу, но не увидел в нем удивления. Шмитовы глаза узко сощурились, стали как лезвие.

– Вы... Вы уже знаете? Почему вы знаете это раньше, чем я?

Андрей Иванович сморщился, поперек глотки стал ком, он досадливо махнул рукой.

– Э, оставьте, мы с вами после! Вы поглядите на нее: вы ведь ей в ноги должны кланяться.

Шмит выдавил сквозь стиснутые зубы:

– Муз-зы-кант! Знаю я этих муз-зы...

Но услышал за собой легкий шорох. Обернулся, а Маруся-то как стояла, так – села на землю, поджав ноги, а глаза закрыты.

Шмит поднял ее на руки и понес.

14. Снежный узор.

Каждый день вечером подходил Андрей Иванов к Шмитовской калитке, брался за звонок и назад уходил: не мог, ну, вот, не мог он такой, проклятый, войти туда, увидеть Марусю. Как же не проклятый: зачем не убил в ту ночь генерала? Шмит бы убил.

Но и так – сидеть в постылой своей комнате и не знать, что там, – еще больше не мог. «Господи, только бы как-нибудь увидеть, хоть немного, что она»...

И на пятый день к вечеру Андрей Иванов придумал-таки. Напялил пальто, взял было пашку, – поставил опять в угол.

– Куда это вы, на ночь глядя? – спросил Гуслийкин и, показалось Андрею Иванову, подмигнул.

– Я... Я не скоро приду, ложись спать.

На улице снег вчера выпал. Не настоящий, конечно, не русский: так только, сверху чуть-чуть.

«Снег – это не хорошо, хрустит, и от месяца – как днем, ясно... Все равно. Надо же»...

Андрей Иванов зуб на зуб не попадал – от холода, что ли? Да нет: мороз – не Бог весть.

Окна у Шмитов завешаны были морозным самоцветным узором. Андрей Иванов поднялся на цыпочки и терпеливо стал дыханием согревать стекло, чтобы увидеть, – Господи, если б хоть немного, хоть немного...

Теперь было видно: они в своей столовой. Дверь оттуда прикрыта неплотно, и в гостиной синий полусвет, смутно-острые тени от пальмы – за тем самым диваном.

Дрожал, глядел Андрей Иванов в протаянный круг. Мерзли руки и ноги. Нескоро, может, через полчаса, может, через час, пришла мысль:

– Стоять и подглядывать, и подглядывать, как Агния какая-нибудь! До чего ж, значит, я... Надо уйти...

Отошел на шаг – и стал: уйти дальше не было сил. Вдруг видел: на снежном экране окна две тени заколыхались – большая и поменьше. Все забыл, кинулся к окну, затрясся, как в лихорадке.

Проталины в окне затянулись уж снежной дымкой, ничего не понять... «Господи, что они там делают, что они делают?»

Маленькая тень поменьше, стала на колени, а может упала, а может... К ней нагнулась большая тень...

Впился, всем своим существом ушел Андрей Иванов в проклятую темную завесу, силится ее разорвать...

– Тр-рах! – стекло треснуло, на лбу ожог боли, мокрое. Кровь... Отскочил Андрей Иванов, ошалело глядел на осколки у ног, стоял и глядел, как вкопанный, – бежать и не подумал.

Очнулся, – возле него был уж Шмит.

– А-а, так это вы, муз-з-зы-кант? Подсматривали-с?

Совсем близко от себя увидел Андрей Иванов острые, бешеные Шмитовы глаза.

– Недурно! Вы здесь быстро ак-климатизировались.

«Поднять руку? Ударить? Но ведь правда же, но ведь правда...» – застонал Андрей Иванов. И стоял. И молчал.

– На этот раз... Пош-шли вон!

Шмит захлопнул за собою калитку.

... «Сейчас же, – сейчас! Притти – и пулю в лоб... Сейчас же!» – побежал Андрей Иванов домой. Лицо горело, как от пощечин.

Не мог теперь сказать: отпирал Гуслийкин или нет. Как будто нет, и все-таки уже сидел Андрей Иванов за столом и глядел на револьвер, под лампой – такой противно-блестящий.

«Но ведь никто же абсолютно не видел. Но и не в этом даже дело. Главное, что ведь Маруся же одна останется – одна, с ним, ведь он, может, ее бьет, и если меня не будет»...

Он спрятал револьвер, запер торопливо на ключ. Дунул на лампу, так в сапогах прямо и бухнулся на постель.

– О, проклятый – о, проклятый трус!

...Склизкое, туманное-серое утро. Гуслийкин нещадно расталкивал Андрея Иваныча:

– Ваш-бродие, покупочки из города привезли.

– Что, что такое?.. Какие покупочки?

– Да ведь вы, ваш-бродь, сами о прошлой неделе заказывали. Ведь завтра-то, чать, Рожество Христово.

Залеченные сном мысли проснулись, заныли.

Рождество... Самый любимый праздник. Яркие огни, бал, чей-то милый надушенный платочек, украденый и хранившийся под подушкой... Все было, все кончилось, а теперь...

Было так: он канул на дно, на дне сидел, а над головой ходило мутное, тяжелое озеро. И оттуда, сверху, доходило все глухо, смутно, туманно.

Очень странно было Андрею Иванычу надеть на первый день мундир и итти с визитами. Но, заведенный каким-то заводом, пошел. Поздравлял, целовал руки, даже смеялся. Но сам слышал свой смех...

Где-то, – может у Нестеровых, может у Иваненко, может у Косинских – был спор о поросенке: как его на стол подавать? Бумажной бахромой надо его украшать, или нет? Окорок, конечно, надо, всякому это ведомо, а вот поросенка-то как? И когда спросили спорщики Андрей-Иванычево мнение («Вы ведь недавно из России – это очень важно») – тут Андрей Иваныч и засмеялся, и услышал: «Я смеюсь? я?».

В каком-то доме, кажется, у Нечесов, из столовой были видны через открытые двери две супружеских, рядом стоящих, брюхатых кровати. Глядя туда и допивая, может, пятаю, может, десятую рюмку, Андрей Иваныч неожиданно спросил:

– А что теперь у Шмитов?

– Чудак, да ведь у вас такое сокровище – Гуслийкин. У него спросите, он в кухне у Шмитов день и ночь, – посоветовала кругленькая капитанша.

От коньяку, от водки, от налегшей плиты ночи – мутное озеро стало еще глубже, еще тяжелей.

Андрей Иваныч сидел после визитов у себя за столом, бессмысленно глядел на лампу, не слушал, что там такое рассказывает Гуслийкин, стоя у притолки. Потом вспомнилось: сокровище. Загорелся Андрей Иваныч и спросил, не глядя:

– А у капитана Шмита давно был?

– Нынче бал. Как же. Там дела, там дела, и-и-и... Комедия!

Нельзя было слушать Андрею Иванычу – и еще больше нельзя не слушать. Весь полыхал от стыда – и слушал. И говорил:

– А дальше? Ну, а потом что?

А когда кончил Гуслийкин, – Андрей Иваныч, шатаясь, подошел к нему.

– К-как ты мне смел такие... такие вещи рассказывать, как ты смел?

– Ваш-бродь, да вы сами ведь...

– ...Как ты смел... про нее, про не-е, с-сволочь?

Хлясь, – так и ушла Андрей-Иванычева рука в бланманже какое-то, в кисельное: такие были у Гуслийкина жидкие щеки. Так это противно: как будто, вот, вымазана теперь вся рука.

15. Нечистая сила.

Января двадцать пятого – мученицы Фелицаты память, генеральши Фелицаты Африкановны именины. И уж так у генерала Азанчеева заведено: обед на Фелицату и вечер званный. Да и не простой обед и вечер не простой, а всегда с закорючкой, с заковыристой загвоздкой какою-нибудь. То поднесет перед обедом всем офицершам по букету роз: «Пожалуйте, барыни, голубушки, сам для вас в оранжерее выводил, сам и рвал». Барыни, конечно, рады, благодарственны: «Ах, какой вы милый, мерси, какой запах»... Разок нюхнули, другой, да как зачихают все: розы-то табаком нюхательным позасыпаны! А то, вот, на последнем обеде в прошлом, стало быть, году такая была потеха. Обед состряпал генерал – просто на диво, а уж на особицу хвастался бульоном. И правда, – янтарный, как шампанское, островки прозрачного жира сверху, и засыпан китайской лапшой: и драконы тут, и звезды, и рыбы, и человечки. После обеда гостям уж ходить не в мочь, – повез генерал гостей кататься, обещал им какую-то диковину показать. И когда этак верст с пяток проехали, скомандовал генерал: – стой! – и объявил всем своим верноподданным:

– А на бульоне-то, господа, не жир это, а касторка сверху плавала. А вам никому и в голову не влетело, ха-ха-ха!

Ну-у... И что тут только же было!

Надо быть, и в этом году что-нибудь уж такое да будет. Хоть и удрал генерал в город от Шмита, хоть и сидит там по сию пору, но не может того быть, чтобы к Фелицатину дню не вернулся. Как же, ведь уже капитан Нечеса, за вечным отпуском командира – старший, получил генеральский приказ согнать всех солдат и начать работы – поле утрамбовывать... Всякие эти занятия там да стрельбы, конечно, похерили: этого добра – каждый день не оберешься, а генеральшины-то именины раз в году, чай, бывают.

И рассыпались солдатики по всему полю за пороховым погребом, – ровно муравьи серые. Еще слава-те, Господи, туман потянул да оттепело, а то бы землю никаким каком не угрызть. Оно, правда, грязновато, рассусолилась глина, мажется, липнет, и глядят все солдаты алахарями. Ну, да тут уж ничего не попишешь: служба. И роются, роются, тачки таскают, копошатся серые, смиренные, вдвое согнутые. Не то на поле бега будут, не то еще что: до Фелицатина дня – ни одной живой душе не известен генеральский секрет...

В сторонке, на чураке сидел Тихмень, отвернувшись: надзирал за работами. Все ему было тошно: перемазанные чумички-солдаты и смиренная их точнотакность. И туман – желтый гад ползучий, и пуще всего, сам он, Тихмень.

В самом деле: какой-то сопливец Петяшка, – и вдруг, все идет к чорту. Раньше было все так ясно: были «вещи к себе», до которых Тихменю никакого не было дела, и были «отражения вещей» в Тихмене, Тихменю покорные и подвластные. И вот – не угодно ли! Прямо какая-то нечистая сила вселилась ей-Богу.

... Церковь, солнечный луч, Тихменя кто-то из больших уводит за руку, а он карачится, хочет еще послушать, как кликуша выкликает – любопытно и жутко: в одно время и своим кличет, бабьим голосом – и чужим, собачьим.

«Да. Разве не собачье все это? И эта гадость, любовь эта самая, и паршивый щенок Петяшка?»

А собачий голос – а нечистая сила – в Тихмене скулит:

«Петяшка... Ах, как же бы это узнать? Наверняка бы? Чей же Петяшка, в самом деле?» – Здравствуй, Тихмень! О чем замечтался?

Вздروгнули оба Тихменя, – настоящий и собачий, – сомкнулись в одного, один этот вскочил.

Пред Тихменем в коробушке, в таратайке казенной, сидела капитанша Нечеса. Нынче в первый раз она встала с постели, и первый ее выезд был к генеральше, или, собственно, – к Агнии. Душа горела – все дотошно разведать, как и что было у генерала с Маруськой этой Шмитовой. «Ах, слава Богу, наказал ее Господь за гордыню, а то этакая принцесса на горошине»...

Посудачила, ямочками поиграла, укатила капитанша. И сейчас же на чураке опять уселось двое Тихменей, затолкались, заспорили.

Собачий Тихмень молвил:

– А капитан-то Нечеса остался ведь один теперь, да-с...

И с присущим ему собачьим нюхом отыскал какую-то, человеку невидную, тропку, побежал – и закрутил, и зарыскал по ней. Долго кружил и вдруг – стоп, нашел, вынюхал:

– Олух же, олух же я! Ну, конечно, пойти и спросить самого капитана. Уж он-то знает, чей Петяшка... Ему – да не знать?

Тихмень встал, поманил к себе пальцем Аржаного.

– Ну, как у нас дела?

В строю разиня – тут, в земляном деле, Аржаной – козырь и мастак, и за всех ответчик.

– Да так что, ваш-бродь, пошти все уж урки свои кончили. Рази там каких-нить штук-человек десять осталось...

– Штук-человек десять? Ну, ладно. – Тихмень махнул рукой:

– Кончайте без меня, я пойду. Ты пригляди, Аржаной.

Торопливо Тихмень вбежал в Нечесовскую столовую. Слава Богу, капитан дома.

Перед капитаном стоял солдат. Капитан Нечеса очень важно отсыпал порошок. Подбросил, прикинул на ладони: годится.

– На вот, во здравие пей. Ну, что там, что там?..

Мнил себя Нечеса очень недурным лекарем. Да и солдат к нему веселей шел, чем к фельдшеру, или, там, к доктору: те-то уж больно мудрены.

Одно горе: уже пять лет утянул кто-то из пациентов у Нечесы «Школу здоровья», и остался у капитана только «Домашний скотолечебник». Делать нечего, пришлось по скотолечебнику орудовать. И, ей-Богу, не хуже выходило: что ж, правда, велика ли разница? Устройство одно, что у человека, что у скотины.

После медицины у капитана настроение бывало расчудесное. Пощекотал он Тихменю ребра:

– Ну, что брат-Пушкин?

– Да вот, хотел, было, я спросить...

– Нет, брат, ты сначала садись, выпей, а там – увидим.

Сели. Выпили, закусили. Опять собрался Тихмень с духом, издалека стал под'езжать: то да се, да как, мол, Петяшку будет трудно на ноги поставить... Но капитан Тихменю живо окорот сделал:

– За обедом? О высоких материях? Да ты спятил! Видать, в медицине ни бельмеса не понимаешь. Разве можно – такие разговоры, чтоб кровь в голову шла? Надо, чтоб вся в желудок уходила...

Ах, ты Господи! Что ты будешь делать? А тут еще влетели все восемь капитановых оборванцев и с ними Топтыгин на задних лапах – денщик Яшка Ломайлов.

Нечесята хихикали, шептались, заговор какой-то. Потом, фыркая, подлетела к Тихменю старшенькая девочка Варюшка

– Дядь, а дядь, у тебя печенки есть? А?

– Пече-печенки, – залился капитан.

Тихмень морщился.

– Ну, есть, а тебе на что?

– А мы нынче за обедом печенку с'едали, а мы за обедом...

– А мы за обедом... а мы за обедом... – запрыгали, захлопали, заорали, кругом понеслись ведьмята. Не вытерпел капитан, вскочил, закружился с ними, – все равно, чьи они: капитановы, ад'ютантовы, Молочковы...

Потом все вместе играли в кулочки. Потом составляли лекарства: капитан и ведьмята – доктора, Яшка Ломайлов – фершал, а Тихмень – пациент... А потом уж пора и спать.

Так и остался Тихмень на бобах: опять ничего не узнал.

16. Пружинка.

Нарочно, смею для, распустил Молочко слух, что генерал вернулся из города. И Шмит на этом поймался. Сейчас же закипел: иду!

Он стоял перед зеркалом, сумрачно вертел в руках крахмальный воротничек. Положил на подзеркальник, позвал Марусю

– Пожалуйста, погляди вот – чистый? Можно еще надеть? У меня больше нет. Ведь, у нас ничего теперь нету.

Узенькая – еще уже, чем была, с двумя морщинками похоронными по углам губ, подошла Маруся.

– Покажи-ка? Да, он... да, пожалуй, еще годится...

И, все еще вращая воротничек в руке, глаз не спуская с воротничка – сказала тихо:

– О, если бы не жить! Позволь умереть... позволь мне, Шмит!

Да, это она, Маруся: паутинка – и смерть, воротничек – и не жить...

– Умереть? – усмехнулся Шмит. – Умереть никогда не трудно, вот – убить...

Он быстро кончил одеваться и вышел. По морозной, звонкой земле шел – земли не чуял: так напряжены были в нем все жилочки, как стальные струны. Шел злобно-твердый, отточенный, быстрый.

Ненавистно-знакомая дверь, обитая желтой клеенкой, ненавистно-сияющий генеральский Ларька.

– Да их преосходительство и не думали, и не приезжали вот ей-Боженьку же, провалиться мне.

Шмит стоял упруго, готовый прыгнуть, что-то держал наготове в кармане.

– Да вот не верите, ваше-скородь, так пожалте, сами поглядите...

И Ларька широко разинул дверь, сам стал в стороне.

«Если открывает – значит нету, правда... Вломиться – и опять остаться в дураках?»

Так резко повернулся Шмит на пороге, что Ларька назад даже прынул и глаза зажмурил.

Шмит стиснул зубы, стиснул рукоятку револьвера, всего себя сдавил в злую пружину. Разжаться бы, ударить! Побежал в казармы – почему, и сам того не знал.

В казарме – пусто-чистые из бревен стены. Все были там, за пороховым погребом, – что-то никому не ведомое устраивали к генеральшиным именинам. Один только дневальный сонно слонялся, – серый солдатик, все у него серое: и глаза, и волосы, и лицо – все, как сукно солдатское.

Шмит бежал вдоль бревенчатой стены, мигали в глазах оголенные нары. За погон что-то задело, – глянул на стену, вверх: там – на одной петельке качалась таблица отдания чести.

Шмит рванул таблицу:

– Эт-то что такое? Ты у меня...

И так ударил голосом на «эт-то», так развернул в этом слове мучительную ту пружину, что вышло, должно быть, страшным простое «это»: серый солдатик шатнулся, как от удара.

Но Шмит был уж далеко: этот серый – не то. Шмит бежал туда, где работали, – к пороховому, где было много.

Только трех солдатиков нынче, вот, и не погнали на работы: в казарме дневального, у погреба – часового и красильщика, который патронные ящики красил.

А красил ящики не какой-нибудь дуrolом, какой не знает и грунтолки положить, – красил ящики рядовой Муравей, своего дела мастер известный. Не то что-то, а даже когда спектакль ставили о запрошлом году: «Царь Максимиан и его непокорный сын Адольфа» – так даже для спектакля все рядовой Муравей расписывал. И он же, Муравей, на гармошке

первый специалист: как он – страдательную сыграть никто не мог. Рядовой Муравей себе цену знал.

И, вот, стоял он маленький, чернявый, будто даже и не русский, стоял и душу свою тешил. Ящики-то зеленым помазать – это еще дело годит. А пока что, зеленью и подгрунтовой белой, расписывал он на ящичке вид: речка, как есть живая ихняя Мамура-речка, а над речкой – ветлы, а над ве...

– А-ах! – как гром разразила его сверху Шмитова рука.

– Т-ты красишь? Ты... красишь? Я... тебе... что... велел?

И еще что-то кричал Шмит – может, и не слова даже, очень даже просто, что не слова, – кричал и бил прислонившегося к зарядному ящичку Муравья. Бил – и все больше хотелось бить: до крови, до стонов, до закатившихся глаз. Так же неудержно, как раньше хотелось без конца тоненькую Марусю подымать на руки, целовать – неудержно.

Со страху ли, или уж больно большим преступником видел себя Муравей, но только не кричал он. А Шмиту попритчилось тут упрямство. Нужно было одолеть, нужен был... нужен был – задыхался Шмит – нужен был крик, стон.

Шмит вытащил из кармана револьвер – и только тут Муравей заорал благим матом.

На поле за пороховым погребом услышали. Размахивали руками, прыгали через канавы, неслись сюда черные фигуры. И впереди был Андрей Иваныч: он дежурил сегодня с солдатами.

Шмит поглядел на Андрея Иваныча, что-то хотел ему сказать, но уж близко дышали, запалились, бежавши, солдаты. Шмит махнул рукой и медленно пошел.

Солдаты стояли в кругу вокруг лежащего, вытягивали головы, долго никто не насмелился подойти. Потом вылез, кряхтя, из середины неуклюже-степенный детина, присел на карачки к Муравью:

– Э-эх, сердешный, как он тебя, знычь, ловко оборудовал...

Андрей Иваныч узнал Аржаного. Аржаной приподнял голову Муравью и умело, как будто это не впервой ему, обматывал ситцевым платком.

«Да, это Аржаной, тот самый, что манзу убил. Тот самый...» – И задумался Андрей Иваныч.

17. Клуб ланцепупов.

Все уж это знали, что Шмит совсем, как бешеный, бегаёт. И когда неожиданно-негаданно вошел он в столовую собрания, все, как по команде, притихли, прижухли, даром, что навеселе были.

– Ну, что ж вы, господа? О чем? – Шмит оперся о стол, с тяжелой усмешкой.

Все сидели, а он стоял: вот это будто, самое неловкое и было, вертелись. Кто-то не вытерпел и вскочил:

– Мы... мы ане-анекдот...

– Ка-акой анекдот?

... «Какой?» Как нарочно, вылетели все из головы: какой же. «А вдруг он нюхом учует, что мы говорили о нем и...»

Выручил капитан Нечеса. Поковырял сизый свой нос и сказал:

– А мы... это, да, армянский – знаешь? Одын ходыт, другой ходыт... двэнадцатый ходыт, что такой?

Шмит почти улыбнулся:

– А-а, двэнадцатый ходыт? Стало быть, капитан-Нечесовы дети...

Все подхватили, загоготали облегченно:

«Что же, он даже и ничего вовсе, даже и шутит»...

Шмит обвел их всех острыми, железно-серыми глазами, каждого ощупал отдельно и сказал:

– Господа, а не осточертело вам здесь? Не пора ли чего-нибудь этакое похлеще? А? Не ахнуть ли нам в город, в ланцепуповский клубик, например? Чуть ли не с год ведь не были.

Шмит глядел, искал: «Поедут – не поедут? А вдруг – поедут, и мы там где-нибудь встретим Аза... Азанчеева? Вдруг – ведь может же»...

Публика оживилась.

– Теперь? Да ведь о полночь уж... С ума спятить! – всю ночь переть туда – ехать... Ветер, качать будет...

– Ну-с? Как же? – усмешкой хлестнул Шмит Андрея Ивановича, уперся в широкий Андрея-Иванычев лоб.

Андрей Иванович вышел вперед и сказал, хотя и не знал даже толком, что за клуб такой ланцепупов, – сказал:

– Я еду.

Лиха беда начать, а там уж пойдет. Загалдели: – и я, и я! Засуетились, застегивали шинели, пошли к берегу. Не поехал только Нечеса.

На воде был такой холодина, что все языки подвязались. Свистел, жуть нагонял ветер. Дремали, сидя. Без конца, всю ночь, колотилась головою волна о железный борт.

Под'езжали на рассвете. Медленно, презрительно, величаво выкатывалось из воды солнце. Сразу стало стыдно клевать носом, вскочили, глядели на непроснувшийся, розовосиний на горе город.

Растолкали на пристани китайцев-извозчиков и покатили гуськом на пяти дребезгливых подводах на самый край города.

На звонок дверь, как у Кашея во дворце, сама растворилась: людей не видать было. Шопотом, воровато вошли в приготовленную комнату, вида необычного, очень длинную: коридор, а не комната. У одной стены – узкий, весь в бутылках, стол. А насупротив, где окна – ничего: пусто, гладко.

Шмит налил полнехонек стакан рома, выпил, рука у него чуть дрожала, глаза узились и кололи.

– Ну, что ж, господа, жребий?

Кинули жребий. Выпал орел четверым: Шмиту, Молочке, Тихменю, Нестерову. Отчего-то розовость Молочкова мигом полиняла.

– Я бросаю! – крикнул Шмит и кинул за окно большой, весело сверкнувший золотой.

На раскрытом окне опущена и парусом вздувается штора. Стали у окна попарно – справа и слева, вынули револьверы, вытянулись, ждали. Резкий, кованный профиль Шмита, острый, выдвинутый вперед подбородок, закрытые глаза...

– Но зачем же они... – поднял было голову Андрей Иванович: ничего не понимал.

На него цыкнули: притих. У всех были красные, дикие глаза, с прозеленью лица: может, от бессонной ночи. Вихрились какие-то несуразные обрывки слов в головах. Лили в себя спирт. Сердце – в нестерпимых, сладко-мучительных тисках.

Плыл вверх солнечный квадрат на белой занавеске. Все так же молча сидели. Не знал никто: час прошел, или два, или...

Шаги по тротуару под окном. Какая-то одинаковая у всех судорога – и четыре нестройных, вразброд, выстрела.

Вскочили, взбудораженно загалдели, все кинулись к окну. У самой стены лежал на спине в ватной синей кофте манза: нагнулся, было, за новеньким, золотым. Но поднять, должно быть, не успел.

Уж что было дальше, не видал Андрей Иванович. От ночи ли бессонной, от винного ли дурмана, или еще от чего, но только сомлел он. Как стоял у окна, так тут же на пол и сел.

Очнулся: совсем близко над ним Шмитовы железно-серые глаза.

– Разве мыслимо? – Шмит встал с колен, выпрямился. – Офицер, как институтка, на кровь не может глядеть. Я всегда это говорю: офицер в мирное время должен учиться убивать...

Андрей Иванович медленно поднимался с полу – шатнулся – схватился за Тихменя.

Тихмень взял его под руку, повел к выходу:

– Пойдемте, голубчик, пойдемте. Вам еще рано, погодите...

Вышли в маленький голый садик с почернелым забором, с печально-непокрытой землей. Только недавно еще вышло на небо солнце, а уж затягивался смертной пленкой тумана его зрак.

Тихмень сбросил фуражку, провел рукой по зализам своим, глянул вверх:

– Скверно. Все скверно. Так скверно! – сказал он скрипуче. Махнул рукой, и опять сидел молча, слишком длинный, непрочный. Полз ржавый, ржавящий, желтый туман.

– Хотя бы война какая, что ли... – буркнул в нос Тихмень.

– Хороши мы будем на войне!

Хотел это только сказать или сказал – и сам того не знал Андрей Иванович: в голове колотилось, ключьями несло стремглав, путалось.

18. Альянс.

Пост великий, мокреть, теплынь. Чавкает под ногами грязь, – так чавкает, что вот-вот человека проглотит.

И глотает. Нету уж сил карачиться, сонный тонет человек и, засыпая, молит: «Ох, война бы, что ли... Пожар бы, запой бы уж, что ли»...

Чавкает грязь. Гиблые бродят люди по косе, в океан уходящей. Чертаются на черном вдалеке белые полосочки – корабли. Ах, не завернет ли какой-нибудь и сюда? С великого поста ведь всегда заходить начинают. Вот, в прошлом году уж целых два в феврале зашли, – заверни, миленький, ах, заверни... Нет! Ну, так, может быть – завтра?

И завтра пришло. Как снег на голову, как веселый снег – свалились французы.

В тот час сидели на пристани Молочко и Тихмень, вспоминали клуб ланцепупов, глядели в даль. Вдали дымок, и все ближе, все быстрее – и уж вот он, весь виден – крейсер, белый и ладный, как лебедь, и французский флаг. Тихмень оробел и наутек пустился. А Молочко остался, загарцовал, выиграл: он первым все узнает, он первым – встретит, он первым – расскажет!

– Я счастлив приветствовать вас на далекой, хотя и русской... то есть, на русской, хотя и далекой земле...

Вот как выразился Молочко: он лицом в грязь не ударит. Ведь у него французженка-гувернантка была...

Французский лейтенантик, которому сказана была Молочкова речь, не улыбнулся – сдержался:

– Наш адмирал просит разрешения осмотреть батарею и пост.

– Господи, да я... Я побегу, я – в момент, – и помчался Молочко.

Но к кому сунуться-то, к кому бежать? Никого из начальства нету, за старшего Нечеса остался. А Нечеса очень невразумителен бывает, коли не в пору его после обеда взбудить. Беда да и только!

– Капитан Нечеса, капитан... Вставайте же, французский адмирал приехал, желает пост осмотреть...

– Хрр... пфф... хрр... Ко-кого?

– Адмирал, говорю, французский!

– К ч-чортовой матери адмирала, спать хочу. Хрр... пфф...

Молочко стянул с капитана накиннутый сверху китайский халат, крикнул Ломайлова:

– Ломайлов, квасу капитану!

Но Ломайлова нету: ушел нынче Ломайлов трубы чистить. Принесла квасу сама капитанша, Катюшка.

Капитан хлебнул, кой-какие слова стал понимать:

– Францу-узы? Да что они, спятили? Зачем?

– Капитан, поскорей, ради Бога! Ведь у нас с французами альянс... Ей-Богу, нагорит!

– О, Господи, откуда? за что? Солдаты, солдаты-то каковы с работами этими генеральскими! Молочко, гони туда, к пороховому, в сей секунд. Всех чтобы, дьяволов, в лес угнали! Ни один чтобы с-собачий сын носу не показал!

И вот, капитан Нечеса стоит, наконец, на пристани, распахнута шинель, на мундире все регалии.

Главная спица в колеснице – Молочко – вертится, сверкает, переводит. Адмирал французский не первой уж молодости, а тонкий да ловкий, как в корсете. Вынул книжечку, любопытствует, записывает.

– А какие у вас порциины солдатам? Так, так. А лошадям? Сколько рот? А сколько прислуги на орудие? А-а, так!

Пошли всем кагалом в казармы. Там уж успели прибрать, почистить: ничего себе. Только дух очень русский стоит. Заторопились французы на вольный воздух.

– Ну, теперь их только к пороховому – и все, и слава Богу...

И оставался уж один до порохового квартал, как из дома поручика Нестерова вылез Ломайлов. Кончил трубы чистить, очень аккуратно все почистил, и в зале, и в спальне. Кончил – и шел себе до дому с метлой, в отрпьях – лохматая, черная образина.

Адмирал любопытно вскинул пенснэ.

– А-а... А это кто же? – и повернулся к Молочке за ответом.

Молочко, утопая, взглядом – молил Нечесу, Нечеса свирепо-символически ворочал глазами.

– Это... э-это ланцепуп, ваше превосходительство! – вякнул Молочко, вякнул первое, что в голову взбрело. Говорили перед тем с Тихменем о ланцепупах, ну и...

– Lan-se-roure? Это... что ж это значит?

– Это... ме-местный инородец, ваше превосходительство.

Адмирал очень заинтересовался:

– Во-от как? Я и не слыхал такого наименования до сих пор, а этнографией очень интересуюсь...

– Недавно только открыты, ваше превосходительство.

Генерал записал в книжку:

– Lan-se-roure... Очень интересно, очень. Я сделаю доклад в Географическом обществе. Непременно...

Нечеса задыхался от нетерпенья узнать, что такое вышло и что за разговор странный – о ланцепупах.

А адмирал – час от часу не легче – уж новую загогулю загнул Молочке:

– Но... почему же я не вижу ваших солдат, ни одного?

– О-о-они, ваше превосходительство, в... в лесу.

– В лесу-у? Все? Гм, зачем же?

– Их, ваше превосходительство, ланце-ла-ланцепупы эти самые... То есть они все отправлены, наши солдаты, то есть, на усмирение, значит, ланцепупов...

– Ах, так это, значит – не совсем еще покоренный народец? Да у вас тут сюрпризы на каждом шагу!

«Сюрпризы! Какие, вот, от тебя еще будут сюрпризы? Заврусь, запутаюсь, погублю»...

– Молочку уж цыганский пот со страху прошибал.

Но адмиралу было довольно и этих открытий. Ходил теперь – и только головою кивал: «Хорошо, очень хорошо, очень интересно». Ведь не каждый это день случается – открывать новые племена.

19. Мученики.

И откуда только прыть взялась у такого человека губошлепого, как капитан Нечеса? Надо быть – с радости, что негаданно все так ловко сошло с французами. И затеял Нечеса устроить в собрании французам пир на весь мир.

Французы согласились: никак нельзя, альянс. И пошла писать губерния. В квартирах офицерских запахло бензином денщики бросили все дела – наворачивали офицершам папилютки, а Ларька генеральский разносил приглашения.

Увидала Маруся, как Ларька в калитку к ним вкатился, так и заметалась, загорелась, забила. Как на ладони, вот встал перед ней вечер тот проклятый: заря-лихоманка, семь крестов, они с Андрей Ивановичем вдвоем, и Ларька подает письмо генеральское.

– Шмит, не пускай его, Шмит, не пускай, не надо!

В Шмите сжалась пружинка, затомила, заныла, запросила мук.

Шмит усмехнулся:

– Не мочь – надо раньше было. А теперь уж моги, – нарочно открыл дверь из столовой и крикнул в кухню:

– Эй, кто там, давай-ка сюда!

Ларькино имя все же не смог Шмит назвать Ларька вкатился медно-сияющий, подал билетец, рассказывал:

– И хлопот же, и хлопот с французами этими, беда!

Заставил себя Шмит, расспрашивал нарочно, выдал даже улыбку. И Ларька вдруг насмелился:

– А что, ваше-скородие, осмелюсь спросить: французы водки-то принимают, али как? А то ведь, что ж мы с ними...

И даже засмеялся Шмит. Засмеялся – и звенит все выше, на самых высоких верхах звенит, не сорваться бы...

А Маруся – у окна, к Ларьке спиной, – уйти не посмела, – стоит и плечики худенькие ходуном ходят. Видит Шмит – и смеяться перестать не может, все выше звенит, все выше...

Одни. Кинулась к Шмиту, на холодный пол перед ним, протянула руки:

– Шмит, но ведь я же для тебя... для тебя то сделала. Ведь мне же было ужасно, отвратительно, – ведь ты веришь?

Шмита свело судорогой-улыбкой:

– И в сотый раз скажу: значит – было не достаточно мерзко, не достаточно отвратительно. Значит, жалость ко мне была сильнее, чем любовь ко мне...

И не знает Маруся, что сделать, чтобы он... Туго заплетены пальцы... Господи, что же сделать, если у нее – любовь, а у него – ум, и ничего не скажешь, не придумаешь. Но неужели же он сам верит в то, что говорит? Ах, ничего, ничего не понять! Заковался, замкнулся, не он стал, не Шмит...

Маруся встала с холодного пола, тихо ушла в зал. Пугали и томили темные углы. Но не так, как раньше: не Бука лохматый мерещился, не Полудушка – веселый сумасшедший, не Враг – прыгучий нечистый, – мерещилось Шмитово чужое, непонятное лицо.

Зажгла одну лампу на столе; влезла на стул, зажгла стенную. Но стало только еще больше похоже на тот вечер: тогда тоже ходила одна и зажигала все лампы.

Потушила, пошла в спальню. «У Шмита – все носки в дырках, а я целый месяц все только собираюсь... Не распускаться, нельзя распускаться».

Села, нагнулась, штопала. Досадливо вытирала глаза: все набегало на них, застило, работы было не видать. Было уж поздно – о полночь, когда кончила всю штопку. Выдвинула ящик, укладывала, на комод трепетала свеча.

Пришел Шмит. Тяжкий, высокий, мерял спальню взад и вперед, скрипел пол. Пружинка та самая билась внутри, мучила и мук искала.

Бросил камень Марусе:

– Ложись, пора.

Она разделась, покорная, маленькая. В рубашке – совсем, как дитенок: такая тонкая, такие ручки худенькие. Только две эти старушечьих морщинки по углам губ...

Подошел Шмит, дышал, как запаленный зверь. Маруся, с закрытыми глазами, лежа, сказала:

– Шмит, но ведь... Шмит... ты любишь ведь? Ты ведь это хочешь – не так, не просто, как...

– Любить? Я любил...

Шмит задохнулся. «Марусенька, Марусенька, ведь я умираю. Марусенька, родная, спаси!» Но вслух сказал он:

– Но ведь ты продолжаешь уверять, что меня любишь хм! Ну, и довольно с тебя. А я... просто хочу.

«Нет, это он так, притворяется... Было бы ужасно»... – Шмит, не надо, не надо же, ради-ради...

Но со Шмитом совладать ей разве? Измял всю, скрутил, силком заставил. Мучительно, смертно-сладко было терзать ее, дитенка худенького, милого, ее – такую чистую, такую виноватую, такую любимую...

Так унижительно, так больно было Марусе, что последний, самый отчаянный не вырвался, а ушел крик вглубь, задушенный, пронизал злой болью. И на минуту, на секунду одну озарил далекий сполох: поняла на секунду Шмитову великую злобу, сестру великой...

Но Шмит уж уходил. Ушел в гостиную – там спать. А может, и не спать, а ходить всю ночь напролет и глядеть в синие, совиноглазые окна.

Лежала Маруся одна, во тьме, в пустоте. Исходила слезами неисходными.

«Он сказал: вы великая, – вспомнила Андрея Иваныча. – Какая же великая: жалкая, стыдная. Если б он знал все, не сказал бы»...

Как знать.

20. Пир на весь мир.

Музыка: пять горнистов-солдат и рядовой Муравей с гармошкой. Эх, музыка, вот, и подкузьмила малость, а то бы – совсем хорошо. На стенах ветки зеленые, флажки трепыхаются. Лампы от усердия прикапчивают даже. На парадных шарфах серебро светит. На барынях брякают брошки, браслеты бабушкины заветные. И не лучше ли всего розово-сияющий распорядитель Молочко?

Но Тихмень на все глядел скептически – был он еще совершенно трезв:

«Все это, конечно, ложь. Но это блестит, да. А так как единственная истина – смерть, и так как я еще живу, то и надо жить ложью, поверхностно. Значит, правы Молочки, и надо быть пустоголовым... Но практически? Ах, я сегодня что-то путаю...»

Мимо Тихменя на музыкантов ринулся Молочко:

– Туш, туш! «Двуглавый Орел!»! Идут, идут...

Музыка заверещала, задудела, дамы поднялись на цыпочках. Вошли французы – все затянутые, надушенные, поджарые, ладные во всех статьях.

Тихмень сперва рот разинул вместе со всеми на минутку. Потом выделил, обмыслил: французы – и наши. Знакомые залосненные наши сюртуки, оробелые лица, перекрашенные платья дам...

«Да... И вот, если ложь окажется еще один раз лжива... Ну да, эн квадрат, минус на минус – плюс... Практически, следовательно... Да, что бишь? Я путаюсь, путаюсь»...

– Слушайте-ка, Половец, – дернул Тихмень Андрея Иваныча, – пойдемте пока что по одной тюкнем: тошнехонько что-й-то...

Да, и Андрею Иванычу было нужно выпить. Хлопнули по одной. В буфетной голошил коньяк Нечеса – для храбрости: как-никак – он ведь за главного.

– Шмит-то нынче веселый какой, у-у! – пробурчал Нечеса сквозь мокрые усы.

– Как, разве тут Шмит? – Андрей Иваныч кинулся обратно в зал.

Затомила в сердце горько-сладкая томь: не Шмита искал он, нет... Проплывали мимо французы – в легчайшем пухе вальса мелькнул потный и красный от счастья Молочко.

«Наврал Нечеса – и к чему? Нет ее. Никого нету»...

И вдруг – громкий, звенящий железом смех Шмита. Кинулся туда. Вихрились, кружились, толкали пары; казалось, не добратся.

Шмит и Маруся стояли с французским адмиралом. Шмит поглядел сквозь Андрея Иваныча – сквозь пустой стакан, выпитый весь до дна.

У Андрея Иваныча глаза заволокло туманом, он быстро повернулся от Шмита к Марусе, взял тоненькую ее ручку, держал, – ах, если бы было можно не отпускать! «Но почему же дрожит, да, конечно – дрожит у ней рука».

По-французски через пень-колоду понимал Андрей Иваныч, вслушался.

– ...Жаль, нет генерала, говорил Шмит, – удивительнейший человек. Вот моя жена – большая почитательница генерала. Я положительно ревную. В одно прекрасное время она может...

Французы улыбались, Шмитов голос звенел и стегал. Маруся стала вся – как березка плакучая – долу клониться. И упала бы, может, но учуял Андрей Иваныч – один он и увидел – поддержал Марусю за талию.

– Вальс, – шепнул он, не слышал ответа, унес ее легкими кругами. «Подальше от Шмита – проклятого, подальше... О, до чего ж он»...

– Как он мучит меня... Андрей Иваныч, если бы вы знали! Вот эти три дня, и сегодня. И три ночи перед балом...

Показалось Андрею Иванычу, говорила Маруся откуда-то снизу, из глубины, засыпанная. Взглянул: эти две морщинки, похоронные около губ – о, эти морщинки...

Сели. Маруся смотрела на кенкет, глаз не отрывала от пляшущего, злого пламенного языка: оторвать, отвести глаза – и все кончено, и плотину прорвет, и хлынет...

В вальсе Шмит подходил к ним. Маруся, улыбаясь – ведь на них глядел Шмит – улыбаясь, сказала чужие, дикие слова:

– Убейте его, убейте Шмита. Чем такой... пусть лучше мертвый, я не могу...

– Убить? Вы? – поглядел Андрей Иваныч, не веря, в ужасе.

Да, она. Паутинка – и смерть. Вальс – и убейте...

Шмит крутился с кругленькой капитаншей Нечесой, крутился упругий, резкий, скрипел под ним пол. Сузил глаза, усмеялся.

Андрей Иваныч ответил Марусе:

– Хорошо.

И со стиснутыми зубами повлек, опять закружил – ах, до смерти бы закружиться...

Тут, впрочем, не от вальсов больше головы кружились, а от выпитых зельев. В кои-то веки, с французами, за альянс-то, да и не выпить? Это бы уж – последнее дело.

Пили и французы, да как-то по хитрому: пили – а душой, вот, не воспринимали. Да и пили больше полрюмки, и смотреть-то нехорошо. То ли дело – наши: на совесть, по-русски, нараспашку. Сразу видать, что пили: соловые ходят, развеселые, мутноглазые.

Вот уж когда чуял Тихмень свой рост: страсть это неудобно высокому быть. Маленькому, если и качнуться – оно ничего. А высокий – колокольня – выгибается, вот-вот ухнет, страшно глядеть.

Зато, прислонившись к стенке, Тихмень почувствовал себя очень прочным, сильным и смелым. И потому, когда, пошатываясь, шел мимо Нечеса, Тихмень решительно ухватил его за полу. «Нет, уж, теперь баста, теперь я спрошу»...

– Капит-тан, скажи ты мне по с-совести, ну, ради Господа самого: чей Петяшка сын? С тоски – понимаешь, с то-ски! – помираю; мой Петяшка или, вот, не мой...

Капитан был нарезавшись здорово, однако – что-то тут неладно – понял:

– Да ты... да ты, брат, это про что, а?

– Гол-лубчик, скажи-и! – Тихмень тихо и горько заплакал. – Последняя ты у меня надежда, хм! хм! – хлюпал Тихмень. – Я Катюшу спросил, она не знает... Господи, что ж мне теперь де-елать? Голубчик, скажи, ты знаешь ведь...

Тупо глядел Нечеса на качавшийся у самых его глаз Тихменев нос, с слезинкой на кончике, – так бы, вот, взял и поправил.

Влекомый высшей силой, Нечеса крепко взял двумя пальцами Тихменев нос и начал его водить вправо и влево. И столь это было для Тихменя сюрпризом, что перестал он хныкать и покорно, даже с некоторым любопытством, следовал за капитановой рукой.

И уж только когда услышал сзади крики: «Тихмень-то, Тихмень-то», – понял и рванулся. Кругом все хваталось за животы.

Тихмень обвел их остолбенелым взглядом, на ком-то остановился – это был Молочко, – и спросил:

– Ты, в-вот, ты видал? Он меня... он водил меня за нос?

Лопнули со смеха. Молочко еле выговорил:

– Ну, брат, кто кого водил за нос, это, в конце концов, неизвестно.

Все кругом ахнули. Теперь нужно было Тихменю что-то сделать. Нехотя, исполняя обязанность, полез Тихмень на капитана.

И тут совсем уж несуразное пошло: Нечеса брюхом лежал на Тихмене и молотил его, куда попало. Кто растаскивал лежащих, а кто тащил этих, которые растаскивали: дайте, мол,

им додраться, не мешайте. И если бы не капитанша Нечеса, Бог знает, чем бы катавасия кончилась.

Капитанша подбежала, крикнула, топнула:

– Ты, чурбан, дурак. Сейчас слезь.

Десять лет этого голоса капитан слушался: моментально слез. Лохматый, встрепанный, сконфуженный – додраться не дали – стоял и очесывался.

Французы собрались в углу, дивились и думали: уйти или нет? И уйти нельзя: альянс. И остаться неловко: видимо, у русских пошло дело домашнее.

– Все-таки... До чего ж они все... ланцепупы какие-то, – поднял вверх брови адмирал. – Из-за чего это у них?

Подозвали Молочко. Молочко пытался объяснить:

– Из-за сына. Чей сын, ваше превосходительство...

– Ничего не понимаю, – повел адмирал плечами.

21. Огонек в теми.

В собрании – из зала в коридор окошко было прорезано. Зачем, на какой предмет, неведомо. Так, вот, просто во всех домах тут делали, – ну, и в собрании, значит. За то денщикам теперь – полное удовольствие: сбились у окна и глядят – не наглядятся.

– У-ух, и дошлый же народ французы эти самые! – самоварно сиял генеральский Ларька. – Это, брат, тебе, не епонец, не манза какая-нибудь. Епонец-то пальцем делан, потому...

Не досказал Ларька: перед господином Тихменем надо было вытянуться.

Измятый весь, в мокром, в пыли, – ступил Тихмень в коридор – и стал, заблудился: куда итти.

Подумал, свернул влево и по скрипучим ступенькам полез наверх, на каланчу.

Яшка Ломайлов неодобрительно глядел ему вслед.

– И куды, например, прет, и куды прет? Ну, какого ему рожна там надо? Ох, Ларька, скажу я тебе, и блажные же господа у нас! Ды блажа-ат, ды блажа-ат, и всяк-то по своему... И чего им, кубыть, еще надо: топка есть, хлеб-соль есть...

Ларька фыркнул:

– Дура: хлеб-соль! Это тебе, вот, животине, хлеба-соли довольно, а которые господа настоящие, не какие-нить сказуемые, так они, брат, мечту в себе держут, да...

– Я бы, например, женил бы господина Тихменя, вот это бы так! – медленным языком ворочал Ломайлов. – Ребяенок бы ему с полдюжинки, вот бы мечтов-то его этих самых – как ветром бы сдуло...

Ломайлов выглянул в окно наружу, в ту сторону, где был домик Нечесов. «Что-то теперь Костенька? Уснул без меня, либо нет?»

Темь, мгла холодная за окном. Где-то не очень подалеку вопили благим матом: караул! караул! Солдаты, очесываясь, зевая равнодушно, слушали: дело обыкновенное, привышное.

Поручик Тихмень стоял уж теперь наверху, шаткий, непрочный, длинный.

– Ну и ха-ра-шо, и ха-ра-шо, и шут с вами, и уйду, и уйду... За нос, хм! Вам-то это хаханьки, а мне-то...

Тихмень толкнул раму, окно распахнулось. Внизу, в темноте, опять кричали караул, громко и жалостно.

– Ка-ра-ул, ага, караул? А я думаешь, – не караул? А мы, думаешь, не кричим? А кто слышит, ну, кто? Ну, так и кричи, и кричи.

Но все-таки высунулся Тихмень, вставил голову в черное, мокрое хайло ночи. Отсюда, с каланчи, виден был веселый огонек на бухте: крейсер, должно быть, ихний.

Был сейчас этот огонек в сплошной черноти опорой какой-то Тихменю, давал жить глазам, без него нельзя бы. Маленький, веселый, ясноглазый огонек.

– Петяшка, Петенька мой, Петяшка...

И вдруг мигнул огонек и пропал. Может, крейсер повернулся другим боком, а может, и еще что.

Пропал, и приступила темь необоримая.

– Пе-тяшка, Петяшка мой! Нечеса последний... Никто теперь не знает, никто не скажет... Ой-е-е-ей!

Тихмень горестно замотал головой и хлюпнул. Потекли пьяные слезы, а какие же слезы горчее пьяных?

Щекой он приложился к подоконнику: подоконник – мокрый, грязный, холодный. Холод на лице протрезвил малость. Тихмень вспомнил свой разговор, с кем-то:

– Всякий имеющий детей – олух, дурак, карась, пойманный на удочку... Это я, я... Я говорил. И я, вот, плачу о Петяшке. Теперь уже не узнать никогда – чей... Ой-е-е-ей!

Никогда – так крышкой и прихлопнуло пьяного, горького Тихменя. Заполонила темь необоримая. Огонек погас.

– Петяшка-а! Петя-шень-ка-а! – Тихмень хлюпал, захлебывался и медленно вылезал на подоконник.

Подоконник – страсть какой грязный, все руки измазал Тихмень. Но о сюртук вытереть жалко. Ну, уж как-нибудь так.

Вылезал все больше, – ах, конца этому нету: ведь он такой длинный. Пока-то это вылез, перевесился, пока-то это с каланчи торчмя головой бухнул во тьму.

Может и закричал, ничего не слышали денщики. Они уж и думать позабыли о Тихмене, блажном: куда-а там Тихмень, когда французы сейчас выходят. Ох, да и молодцы же народ, хоть и жвытки они больно...

Веселой гурьбой, вполпьяна, выходили французы, скользили на ступеньках: «Ах, и смешные же русские эти... ланцепупы... Но есть в них, есть в них что-то такое»...

А за французами ползли и хозяева. Коли французы вполпьяна, так хозяевам и сам Бог велел в риз положении быть: кто еще шел – перила обнимал, а кто уж и на карачках...

Тихменя нашли только утром. Перетащили к Нечесам: у них жил живой – у них, значит, и мертвый. И лежал он покойно в зальце на столе. Лицо белым платком покрыто: расшиблено уж очень.

Капитанша Катюша навзрыд плакала и отпихивала мужа:

– Уй-ди, уй-ди! Я его люблю, я его любила...

– Ты, матушка, всех любила, по доброте сердечной. Уймись, не реви, будет!

– И подумать... Я может, я ви-но-ва-ва-та-а... Господи, да коли бы я, правда, знала, чей Петяшка-то! Господи, кабы знать-то... а-а-а! – соврать бы ему было!

Ломайлов отгонял восьмерых ребят от дверей: так и липли к дверям, так в щель и совали нос, ох, и любопытный народец!

– Яшка, Яшутничек, а скажи: а дяде рази уж не больно? А как же? А ведь ушибся, а не больно.

– Дурачки-и, помер ведь он: знамо, не больно.

Старшенькая девочка Варюшка от радости так и засигала:

– Тц-а! Что? Я говолира – не больно. Я говолира! А ты не верил. Тц-а, что?

Уж так ей лестно брату нос наставить.

22. Галченок.

Уж февраль, а генерал все еще в городе околачивался, все боялся приехать домой. И Шмит лютовал по-прежнему, весь мукой своей пропитался, во всякой мелочишке это чувствовалось.

Ну, вот, выдумал, например, издевку: денщика французскому языку обучать. Это Непротошнова-то! Да он все и русские слова позабудет, как перед Шмитом стоит, а тут: французский. Все французы эти поганые накуралесили: Тихменя на тот свет отправили, а Шмиту в сумасшедшую башку взбрела этакая, вот, штука...

Черноусый, черноглазый, молодец Непротошнов, а глаза – рыбы, стоит перед Шмитом и трясется:

– Н-не могу знать, ваше-скородь, п-позабыл...

– Я тебе сколько раз это слово вбивал. Ну, а как «позабыл», а?

Молчание. Слышно: у Непротошнова коленки стучат друг об дружку.

– Ну-у?

– Жуб... жубелье, ваше-скородь...

– У-у, – немыр! К завтраму, чтоб на зубок знал. Пошел!

Сидит Непротошнов на кухне, повторяет проклятые бусурманские слова, в голове жернова стучат, путается, дрожит. Слышит, чьи-то шаги – и вскакивает, как заводной, и стоит – аршин проглотил. Со страху-то и не видит, что не Шмит пришел, а пришла барыня, Марья Владимировна.

– Ну, что ты, Непротошнов, а? Ну, что ты, что ты?

И гладит его по стриженной солдатской голове. Непротошнов хочет поймать, взять ее маленькую ручку, да смелости не хватает, так при хотеньи одним и остается.

– Барыня милая... Барыня милая! Ведь я все – ведь я все-всешеньки... Не слепой я...

Маруся вернулась в столовую. Глаза у ней горели, что-то сказать. Но только взглянула на Шмита – разбилась об его сталь. Опустила глаза, покорная. Забыла все гневные слова.

Шмит сидел не читая, так. Он никогда не читает теперь не может. Сидит с папиросой, мучительно зацепился глазами за одну точку – вот, за граненую подвеску на лампе. И так трудно невероятно на Марусю взглянуть.

– Ну? О Непротошнове, конечно? – усмехнулся Шмит.

Подошел к Марусе вплотную.

– Как я тебя...

И замолк. Только стиснул больно ее руки повыше локтей: завтра будут здесь синяки.

На худеньком ребячьем теле у Маруси много теперь цветет синяков – от Шмитовых злых ласк. Все неистовой, все жесточе с ней Шмит. И всегда одно и то же: плачет, умиряет, бьется она в кольцо Шмитовых рук. А он – пьет сладость ее умираний, ее слез, своей гибели. Нельзя, некуда спастись ей от Шмита, и хуже всего: не хочется спастись. Вот сказала намеренно на балу Андрею Иванычу – сорвалось же такое: «убейте Шмита». И не знает покою теперь: а вдруг?

Не забыл Андрей Иваныч тех Марусиных слов, каждый вечер вспоминал их. Каждый вечер – один и тот же мучительный круг, замыкаемый Шмитом. Если б Шмит не мучил Марусю; если б Шмит не захватил его тогда у замерзшего окна; если б Шмит на балу не...

Главное, тогда не было бы вот этого, что уж стало привычно-нужным: каждый вечер перед Андреем Иванычем не стоял бы Гуслийкин, не ухмылялся бы бланманжейной своей физией, не рассказывал бы...

«Но ведь, Господи, не такой уж я был пропащий, – думал ночью Андрей Иваныч, – не такой уж... Как же это я?»

И опять: Шмит, Шмит, Шмит... «Убить. Она не шутила тогда, глаза были темные, не шутили».

И вот как-то вдруг, ни-с-того, ни-с-сего Андрей Иванович решил: нынче. Должно быть, потому, что было солнце, надоедно-веселая капель, улыбочивая, голубая вода. В такой день – ничего не страшно: очень просто, как кошелек, сунул Андрей Иванович револьвер в карман, – очень просто, будто в гости пришел, дернул Шмитовский звонок.

Загремел засов, калитку отпер Непротошнов. Шмит стоял посреди двора, без пальто, почему-то с револьвером в руках.

– А-а, по-ру-чик Половец, муз-зыкант! Д-давненько...

Шмит не двинулся, как стоял, так и стоял, тяжкий, высокий.

«Непротошнов... При нем – нельзя», – юркнула мысль, и Андрей Иванович повернулся к Непротошнову:

– Барыня дома?

Непротошнов заметался, забился под Шмитовым взглядом: нужно было обязательно ответить по-французски, а слова, конечно, сразу все забылись.

– Жуб... жубелье, – пробормотал Непротошнов.

Шмит засмеялся, зазвенел железом. Крикнул:

– Пошел, скажи барыне, к ним вот, пришли, да-с, гости незваные...

Андрея Ивановича удержал взглядом на месте:

– Что глядите? Револьвер не нравится? Не бойтесь! Пока только галченка вот этого хочу пришибить, чтоб под окном не кричал...

Только теперь увидел Андрей Иванович: под тачкой присел, прижухнул галченка. Крылья до земли опущены, летать не умеет, не может, еще малец.

Щелкнул выстрел. Галченка надсаженно, хрипло закаркал, крыло окрасилось красным, запрыгал под сарай. Шмит перекосоурил рот, должно быть – улыбка. Прицелился снова: ему нужно было убить, нужно.

Быстрыми, большими шагами Андрей Иванович подбежал к сараю, стал лицом к Шмиту, к галченку – спиной:

– Я... я не позволю больше стрелять. Как не стыдно! Это издевательство!

Шмитовы железно-серые глаза сузились в лезвее:

– Поручик Половец. Если вы сию же секунду не сойдете с дороги, я буду стрелять в вас. Мне все равно.

У Андрея Ивановича радостно-тоскливо заколотилось сердце. «Маруся, посмотри же, посмотри! Ведь я это не за галченка...» С места не двинулся.

Мигнул огонек, выстрел. Андрей Иванович нагнулся. Изумленно себя пощупал: цел.

Шмит злобно, по-волчьи, ощерил зубы, нижняя челюсть у него тряслась.

– С-свол... Ну, уж теперь – попаду-у!

Опять поднялся револьвер. Андрей Иванович зажмурился:

«Бежать? Нет, ради Бога, еще секундочку – и все...»

Почему-то совсем и из ума вон, что в кармане у него тоже револьвер, и пришел-то ведь затем, чтобы... Смирно стоял и ждал.

Секунда, две, десять: выстрела нет. Открыл глаза. Нижняя челюсть у Шмита так прыгала, что он бросил револьвер на землю и нажимал, изо всех сил держал подбородок обеими руками. У Андрея Ивановича все пошло внутри, сдвинулось.

– Мне вас жалко. Я хотел, но не стану...

Он вынул из кармана свой револьвер, показал Шмиту. Быстро пошел к калитке.

23. Хорошо и прочно.

Еще затемно, еще только февральская заря занималась, кто-то стучал к Андрей Ивановичу в дверь. Хотел Андрей Иванович «кто там» сказать, да так и не сказал, увяз опять во сне. Пришла Маруся и говорила: «А знаете, теперь я уж больше не...». А что «не» – не досказывает. Но Андрей Иванович и так почти знает. Почти уж поймал это «не», почти уж...

Но в дверь все громче, все надоедней стучат. Делать, видно, нечего. Пришлось Андрею Ивановичу вылезть из сна, пришлось встать, открыть дверь.

– Непротошнов, ты? Что такое, зачем? Что случилось?

Непротошнов подошел к кровати, нагнулся близко к Андрею Ивановичу – и не по-солдатски совсем:

– Ваше-бродие, барыня велела вам сказать, что наш барин вас, ваш-бродь, грозятся убить. Так что барыня, ваше-бродь, просила, чтоб вы ничего такого, борони Бог, не сделали...

– Да что, да что такое мне не делать-то?

Но уж больше слова путного не мог Андрей Иванович из Непротошнова вытянуть.

– Не могу знать, ваш-бродь...

– Ну, а барыня что, Марья Владимировна, что она?

– Н-не могу знать, ваш-бродь...

«...О, идол проклятый, да скажи хоть что с ней?»

Но поглядел Андрей Иванович в безнадежно-рыбьи глаза Непротошнова и отпустил его.

Остался один, долго лежал в темноте. И вдруг вскочил:

– Господи! Да ведь если она прислала это сказать, так значит, она... Господи, да неужели ж она меня...

Догнать Непротошнова, догнать, дать ему целковый последний! Выбежал Андрей Иванович во двор, на крыльцо – Непротошнова и след простыл.

Но с крыльечка Андрей Иванович уж не мог уйти. Небо – огромное, воздух – полон сосновым лесом, и море – как небо. Весна. Вот вытянуть бы руки так – и ринуться вперед, туда...

Жмурился Андрей Иванович, оборачивал лицо вверх, к теплему солнцу.

«Умереть? Ну, что ж... Умереть нам легко. Убить – труднее, и труднее всего – жить... Но все, все, и убить – пусть только она захочет».

Такое солнце, что можно было даже создать себе вот эту нелепицу, несуразность: что она, Маруся, что она и в самом деле... А вдруг? Ведь такое солнце.

С утра – с зари ее видеть... Ничего – только какая-нибудь малость самая малая, легчайшее касание какое-нибудь, как тогда, – падал снег за окном... И уж – счастье. С самого утра – до поздней ночи, все – счастье.

Вот так бы вот, раздевши, побежать бы сейчас туда...

Сегодня даже с солдатами заниматься было хорошо. Даже Молочко – новый.

Молочко, положим и в самом деле сиял, и телячьест его была важная, не такая, как всегда.

– Я имею до вас дело, – остановил он Андрея Ивановича.

– Что? Э, да скорее, не тяните козла за хвост!

– Шмит меня просил... можете себе представить? – быть секундантом. Вот письмо.

– А-а, вот что... «вот почему Маруся»... Открыл Андрей Иванович конверт, прыгал через строчки, глотал, ах – поскорее!

«Во время вчерашнего... с галчененком... Мой дуэльный выстрел... Ваша очередь... Буду стоять, не шелохнусь, и если... Очень рад буду, мне пора».

Конец Андрей Иванович прочел вслух:

– Позвольте. Это что ж такое?"...Только Вам одному стрелять. А если вам не угодно, мы посмотрим". Позвольте что это за дуэль? Странные требования! Это не дуэль, а чорт знает что! Что он думает, – я стану, как он... Вы секундант, вы должны...

– Я... я ничего не знаю... Он так... он меня послал – Шмит... Я не знаю, – бормотал Молочко, оробело поглядывал на широкий, взборозженный Андрей-Иванычев лоб.

– Послушайте, вы сейчас же пойдете и скажете капитану Шмиту, что такой дуэли я не принимаю. Не угодно ли ему, – оба стрелять вместе. Или никаких дуэлей... Это чорт знает что!

Молочко, поджав хвост, побежал рысцой к Шмиту. Захлебываясь, доложил обо всем. Шмит курил. Равнодушно стряхнул пепел:

– Гм, несогласен, вот как? А впрочем, я так и...

– ...Нет, что ему еще нужно? Можете себе представить: еще накричал на меня! При чем – я? Это с вашей стороны... Это так благородно, отдать свой выстрел, а он...

«Благородно, ч-чорт!» – Шмит искривился, исковеркался: – Бла-го-род-но, д-да... Ну, вот вам поручение: завтра вы всем расскажете, что Половец меня обозвал... негодяем, что я его вызвал, а он отказался. Поняли?

– Господи, да я... Но почему завтра?

Шмит пристально поглядел на Молочко, усмехнулся нехорошо и сказал:

– А теперь прощайте-с.

С каменным, недвижимым лицом сидел Шмит один и курил. Револьвер валялся на столе.

«Разбудить Марусю? Сказать? Но что? Что люблю, что любил? И чем сильнее любил»...

Он пошел в спальню. Истерзанная ночными распытями Маруся мертво спала. Лицо все измазано было следами слез – как у малого ребенка. Но эти две морщинки около губ...

Разверзлась Шмитова каменность, проступила на лице смертная мука. Он стал на колени, нагнулся было к ее ногам Но... сморщился, махнул рукой:

«Не поверит. Все равно... теперь не поверит», – и торопливо пошел в сад.

В саду у клумб копался Непротошнов: хоть бы чем-нибудь барыню милую улыбнуть, – примечал он ведь, обеими руками она бывало к цветам-то тянулась.

Увидел Непротошнов Шмита – дрогнул, вытянулся, застыл Шмит хотел усмехнуться – лицо не двинулось.

«Он – все еще меня боится... Чудак!»

– Уйди, – только и сказал Непротошнову.

Непротошнов – подавай, Бог, ноги: слава Богу – целехонек ушел.

Шмит сел на большой белый камень, уперся левым локтем в колено.

«Нет, не так... Надо прислониться к стене... Вот теперь... хорошо, прочно».

Вынул револьвер. «Да, хорошо, прочно». И та самая пружинка злая разжалась, освободила.

24. Поминки.

Андрей Иванович сидел и писал письмо Марусе. Может, это было нелепо, бессмысленно, но больше нельзя – нужно было выкрикнуть все, что...

Не замечал, что уж стемнело. Не слышал, как вошел и стал у притолки Непротошнов. Бог его знает, сколько он тут стоял, пока насмелился окликнуть:

– Ваше-бродь... Господин поручик!

Андрей Иванович с сердцем бросил перо: опять рыбьеглазый этот!

– Ну, чего? Все про то же? Убить меня хочеть?

– Никак нет, ваше-бродь... Капитан Шмит сами... Они сами убились... Вко-вконец...

Андрей Иванович подскочил к Непротошнову, схватил за плечи, нагнулся – в самые глаза. Глаза были человечьи – лили слезы.

«Да. Шмита нет. Но, ведь, значит, Маруся – ведь теперь, – она, значит»...

Во мгновение ока он был уже там, у Шмитов. Промчался через зал, на столе лежало белое и длинное. Но не в этом дело, не в этом...

Маруся сидела, в веселенькой бревенчатой столовой. Стоял самовар. Это уж от себя расстарался Непротошнов, если что-нибудь такое стряется – без самовара-то как же? Милая, каштановая, встрепанная головка Марусина лежала на ее руках.

– Маруся! – в одном слове выкрикнул Андрей Иванович все: что было в письме, и протянул руки – лететь: все кончено, все боли...

Маруся встала. Лицо было дикое, гневное.

– Вон! вон! Не могу вас... Это все – это вы – я все знаю...

– Я? Что я?

– Ну, да! Зачем вы отказались, что вам стоило... Что вам стоило выстрелить в воздух? Я же присылала к вам... О, вы, хотели, я знаю... вы хотели... я знаю, зачем вам. Уйдите, уйдите, не могу вас, не могу!

Андрей Иванович, как ошпаренный, выскочил. Тут же у калитки остановился. Все перепуталось в голове.

«Как? Неужели же она... после всего, после всего... любила? Простила? Любила Шмита?»

Трудно, медленно до глубины, до дна добрался – и вздрогнул: так было глубоко.

«Вернуться, стать на колени, как тогда: великая»...

Но из дома он слышал дикий, нечеловеческий крик. Понял: туда нельзя. Больше никогда уж нельзя.

К похоронам Шмитовым генерал приехал из города. И такую поминальную Шмиту речь двинул, что сам даже слезу пустил, – о других-прочих что уж и толковать.

Все были на похоронах, почтили Шмита. Не было одной только Маруси. Ведь уехала, не дождалась: каково? Монатки собирала и уехала. А еще тоже любила, называется! Хороша любовь.

Взвихрилась, уехала, – так бы без поминок Шмит и остался. Да спасибо генералу, душа-человек: у себя те поминки устроил.

Нету Шмита на белом свете – и сразу, вот, стал он хорош для всех. Крутенок был, тяжеленок, – оно верно. Да за то...

У всякого доброе слово для Шмита нашлось: один только молчал Андрей Иванович, сидел, как в воду опущенный. Э-э, совесть должно быть, малого зазрила. Ведь у них со Шмитом-то американская дуэль, говорят, была, – правда или нет? А все ведь бабы, все бабы, – всему причины... Эх!

– А ты, брат, пей, ты пей, оно и глядишь... – сердобольно подливал Андрею Иванычу Нечеса.

И пил Андрей Иваныч, послушно пил. Хмель-батюшка – ласковый: некуда голову преклонить, так хмель ее примет, приголубит, обманом взвеселит...

И когда нагрузившийся Молочко брякнул на гитаре «Барыню» (на поминальном-то обеде) – вдруг замело, завихрило Андрея Иваныча пьяным, пропащим весельем, тем самым последним весельем, каким нынче веселится загнанная на кулички Русь.

Выскочил Андрей Иваныч на середину, постоял секунду, потер широкий свой лоб – смахнул со лба что-то – и пошел коленца выкидывать, только держись,

– Вот это так-так! Ай да наш, ай да Андрей Иваныч! – закричал Нечеса одобрительно, – я говорил, брат, пей, я говорил. Ай да наш!

